



ГЕОПОЛИТИКА GEOPOLITICS GEOPOLITIK ГЕОПОЛИ

Генри КИССИНДЖЕР

# Дипломатия

Геополитика (АСТ)

Генри Киссинджер

**Дипломатия**

«Издательство АСТ»

1994

УДК 327  
ББК 66.4(0)

**Киссинджер Г.**

Дипломатия / Г. Киссинджер — «Издательство АСТ»,  
1994 — (Геополитика (АСТ))

ISBN 978-5-17-099392-5

В своей книге «Дипломатия» Генри Киссинджер стремится проанализировать историю дипломатических отношений между государствами, начиная с Вестфальского договора 1648 года и до конца XX века. Перед читателем предстает ряд политических деятелей «всех времен и народов» – от Ришелье до наших современников. Но больше внимания автор уделяет тем событиям Новейшего времени, в которых он участвовал сам, рассматривая их как вехи становления так называемого «нового мирового порядка», складывающегося на рубеже XX–XXI веков.

УДК 327  
ББК 66.4(0)

ISBN 978-5-17-099392-5

© Киссинджер Г., 1994  
© Издательство АСТ, 1994

# Содержание

Глава 1	6
Глава 2	15
Глава 3	38
Глава 4	56
Конец ознакомительного фрагмента.	77

# Генри Киссинджер Дипломатия

Henry Kissinger  
DIPLOMACY

Серия «Геополитика»

Печатается с разрешения издательства Simon & Schuster, Inc. и литературного агентства Andrew Nurnberg.

© Henry A. Kissinger, 1994

© Перевод. В. Верченко, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

\* \* \*

*Сотрудникам и сотрудницам дипломатической службы  
Соединенных Штатов Америки, чей профессионализм и  
самоотверженность служат на благо американской дипломатии.*

## Глава 1

### Новый мировой порядок

Как будто по какому-то естественному закону развития каждое столетие, как представляется, возникает страна, обладающая мощью, целеустремленностью, интеллектуальными и моральными стимулами, достаточными для того, чтобы формировать международную систему в соответствии со своими собственными ценностями. В XVII веке Франция во времена кардинала Ришелье привнесла в международные отношения новаторский для своего времени подход, в основе которого лежало национальное государство и который был мотивирован национальным интересом, представлявшим конечную цель этого государства. Великобритания в XVIII веке выработала концепцию баланса сил, которая превалировала в европейской дипломатии все последующие 200 лет. В XIX веке Австрия при Меттернихе перестроила «Европейский концерт», а бисмарковская Германия разрушила эту конфигурацию, превратив европейскую дипломатию в хладнокровную игру силовой политики.

В XX веке ни одна страна не оказывала такого решающего и такого двойственного воздействия на международные отношения, как Соединенные Штаты Америки. Ни одно общество не настаивало так твердо на недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств и не утверждало с такой страстью универсальную применимость своих собственных ценностей. Ни одна другая страна не была настолько прагматична в своем повседневном проведении дипломатии или так идеологически настроена в продвижении своего исторически сложившегося морального кредо. И ни одна страна так не осторожничала в вопросе об участии в миссиях за рубежом, даже в ходе создания альянсов и принятия на себя небывалых по своим масштабам обязательств.

Особенности, которые Америка получила благодаря своей истории развития, дали два противоречащих друг другу подхода к внешней политике. Первый состоит в том, что Америка лучше всего проводит свои ценности в мире, совершенствуя демократию в собственной стране, тем самым действуя в качестве путеводной звезды для остального человечества. Второй подход заключается в том, что эти ценности накладывают на Америку обязательство отстаивать их по всему миру. Разрываясь между тоской по непорочному прошлому и устремлением к совершенному будущему, американская философия колебалась между изоляционизмом и своими международными обязательствами, хотя после окончания Второй мировой войны на первый план стало выходить осознание взаимозависимости.

Оба эти течения философской мысли – относительно Америки как путеводной звезды и Америки как некоего борца – рассматривают вполне нормальным такой международный порядок, основанный на демократии, свободной торговле и международном праве. А поскольку подобная система никогда ранее не существовала, ее воплощение в жизнь зачастую представляется в глазах других обществ чем-то утопическим, если не наивным. И тем не менее скептицизм со стороны иностранцев никогда не приводил к ослаблению идеализма Вудро Вильсона, Франклина Рузвельта или Рональда Рейгана или фактически всех других американских президентов XX века. В любом случае он только подкреплял веру Америки в то, что историю можно переломить и что если весь мир действительно захочет добиться мира, то он должен следовать предписаниям Америки.

Оба эти течения были результатом американского опыта. Хотя существовали и другие республики, ни одна не создавалась сознательно для доказательства справедливости идеи свободы. Ни в одной другой стране население не ставило перед собой цель отправиться на другой континент и покорить его дикие пространства во имя свободы и процветания для всех. Оба эти подхода – путь изоляционизма и путь миссионерства, – такие противоречащие друг другу

внешне, отражали лежащую в их основе общую веру в то, что Соединенные Штаты имеют самую лучшую в мире систему правления и что остальное человечество может добиться мира и процветания, отказавшись от традиционной дипломатии и приняв как руководство к действию уважение Америкой международного права и демократии.

История участия Америки в международной политике была историей триумфа веры над опытом. Со времени выхода Америки на авансцену мировой политики в 1917 году ее настолько переполняла мощь и убежденность в правоте своих идеалов, что важнейшие международные договоренности этого столетия стали воплощением в жизнь американских ценностей, начиная с Лиги Наций и пакта Бриана – Келлога и кончая Уставом Организации Объединенных Наций и Хельсинским заключительным актом. Крах советского коммунизма означал интеллектуальное подтверждение превосходства американских идеалов и, как ни странно, поставил Америку лицом к лицу с таким миром, которого она стремилась избегать на протяжении всей своей истории. В условиях создающегося международного порядка национализм обрел новую жизнь. Страны стали все чаще преследовать собственные корыстные интересы, а не следовать возвышенным принципам, и больше конкурировать друг с другом, чем сотрудничать. Существует не так уж много доказательств того, что этот традиционный стереотип поведения изменился или что есть вероятность его изменения в предстоящие десятилетия.

Поистине новым в нарождающемся мировом порядке *является* то, что впервые Соединенным Штатам не удастся ни остаться в стороне от этого мира, ни доминировать в нем. Америка не сумеет изменить то, как она воспринимает свою роль в процессе исторического развития, да ей и не следует к этому стремиться. Когда Америка вышла на международную арену, она была молода, активна и обладала мощью, которая могла бы преобразовать мир согласно ее представлениям о международных отношениях. К концу Второй мировой войны в 1945 году Соединенные Штаты были настолько сильны (в какое-то время на их долю приходилось около 35 процентов всего производства мировой экономики), что казалось, будто предопределено судьбой, чтобы они перedelывали мир так, как они сами предпочтут.

Джон Ф. Кеннеди с полной убежденностью объявил в 1961 году, что Америка сильна до такой степени, что в состоянии «заплатить любую цену и вынести любое бремя» для того, чтобы обеспечить победу свободы. 30 лет спустя Соединенные Штаты уже не настолько сильны, чтобы настаивать на немедленном осуществлении всех своих чаяний. Другие страны выросли до статуса великой державы. Сейчас перед Соединенными Штатами стоит проблема в деле достижения своих целей, каждая из которых представляет собой некий сплав американских ценностей и геополитических потребностей. Одна из таких новых потребностей заключается в том, что мир, состоящий из нескольких государств, имеющих сопоставимую мощь, должен строить свой порядок в соответствии с некоей концепцией баланса сил – идеи, которая никогда особенно не устраивала Соединенные Штаты.

Когда американское мышление по вопросам внешней политики и европейская дипломатия сошлись друг с другом на Парижской мирной конференции в 1919 году, стали весьма заметны различия в их историческом опыте. Европейские руководители старались переделать существующую систему привычными для них методами. А американские миротворцы полагали, что Первую мировую войну вызвали не какие-то неразрешимые геополитические конфликты, а ошибочные действия европейцев. В своих знаменитых «Четырнадцати пунктах» Вудро Вильсон сказал европейцам, что отныне международная система должна основываться не на балансе сил, а на самоопределении наций. Он утверждал, что их безопасность должна зависеть не от военных союзов, а от коллективной безопасности, считая, что их дипломатия больше не должна вестись тайно узкими специалистами, она должна основываться на «открытых соглашениях, к которым приходят в обстановке открытости». Вильсон, несомненно, не столько ставил своей целью обсуждение условий окончания войны или восстановление суще-

ствовавшего международного порядка, сколько намеревался переделать всю систему международных отношений, существовавшую почти три столетия.

Когда американцы обдумывали вопросы внешней политики, они во всех трудностях Европы винили систему баланса сил. И с того времени, когда Европа впервые заинтересовалась американской внешней политикой, ее руководители с неодобрением относились к взятой Америкой по собственной инициативе миссии по проведению глобальной реформы. Каждая из сторон вела себя так, будто другая сторона произвольно выбрала свой стиль дипломатического поведения, и, дескать, могла бы выбрать, будучи мудрее или менее воинственно настроенной, иной и более приемлемый стиль поведения.

На деле же, как американский, так и европейский подходы в отношении внешней политики являлись порождением их собственных уникальных обстоятельств. Американцы поселились на почти незаселенном континенте, защищенном от грабительских держав двумя просторными океанами, а их соседями были слабые страны. А поскольку Америка не сталкивалась ни с одной державой, с которой ей надо было бы соперничать на равных, ей не было необходимости заниматься проблемами баланса сил, даже если бы ее руководителям пришла необычная идея повторить европейские условия с народом, покинувшим Европу.

Мучительная необходимость выбора в деле безопасности, которая преследовала европейские страны, не касалась Америки на протяжении почти 150 лет. Когда же она возникла, то Америка дважды приняла участие в мировых войнах, начатых странами Европы. И в каждом случае к тому времени, когда Америка оказалась вовлеченной, баланс сил не срабатывал. Из-за этого возникал следующий парадокс: тот баланс сил, на который большинство американцев смотрело с презрением, на самом деле обеспечивал американскую безопасность до тех пор, пока он работал так, как и задумывалось. И именно его нарушение приводило к подключению Америки к международной политике.

Европейские страны не выбирали баланс сил как средство улаживания своих отношений из некоей врожденной склонности к ссорам или пристрастия Старого Света к интригам. Если приверженность демократии и международному праву явилась результатом уникального восприятия Америкой своей безопасности, то европейская дипломатия закалялась в тяжелых испытаниях постоянных стычек.

Европа оказалась втянутой в политику баланса сил, когда был разрушен ее первоначальный выбор – средневековая мечта об универсальной империи, и когда из пепла той развеянной по ветру древней мечты появилась масса государств более или менее одинаковой силы. Когда некая группа возникших таким вот образом государств была вынуждена иметь дело друг с другом, только два вероятных исхода могло произойти: либо одно государство становится настолько сильным, что оно начинает доминировать над остальными и создает империю, либо ни одно государство не является достаточно мощным, чтобы достичь этой цели. В случае последнего исхода притязания наиболее агрессивно настроенного члена международного сообщества будут сдерживаться разными сочетаниями общности остальных членов; другими словами, применением политики баланса сил.

Система баланса сил не подразумевает возможность избежать кризисов или даже войн. При нормальной работе она предназначалась для ограничения как возможности государств господствовать над другими, так и масштабов конфликтов. Ее целью был не мир как таковой, но стабильность и сдержанность. Механизм политического равновесия по определению не может удовлетворить всех членов международной системы полностью. Лучше всего он работает, когда сдерживает уровень этой неудовлетворенности ниже того, при котором чувствующая себя обиженной сторона попытается свергнуть существующий международный порядок.

Теоретики в области баланса политических сил зачастую оставляют впечатление, что такое положение является естественной формой международных отношений. А на самом же деле системы баланса сил в истории человечества явление очень редкое. Западное полуша-

рие таковых не видело вообще, да и на территории современного Китая со времен окончания периода Воюющих государств более 2000 лет назад такого тоже не бывало. Для большей части человечества и на протяжении большей части исторического периода типичной формой правления была империя. Империи не испытывали никакого интереса к действиям в рамках некоей международной системы. Они сами стремились *становиться* международной системой. Империям не нужен баланс сил. Именно так вели себя Соединенные Штаты в своей внешней политике в Северной и Южной Америке, и точно так же вел себя Китай на протяжении большей части своей истории в Азии.

На Западе единственными примерами функционирования систем баланса сил были города-государства Древней Греции и Италии эпохи Возрождения, а также система европейских государств, возникшая в результате Вестфальского мира 1648 года. Отличительной чертой этих систем было возведение самого факта жизни – существования группы государств, в основном равных по своей мощи, – в руководящий принцип миропорядка.

Концепция баланса сил с интеллектуальной точки зрения отражала убеждения всех крупных политических мыслителей эпохи Просвещения. По их мнению, вселенная, включая и политическую сферу, функционировала согласно принципам целесообразности, которые уравновешивали друг друга. Внешне кажущиеся не связанными друг с другом действия разумных людей в своей совокупности вели бы к достижению всеобщего блага, хотя доказательства этого предположения носили весьма расплывчатый характер в век почти постоянных конфликтов, последовавших за Тридцатилетней войной.

В своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народа» Адам Смит исходил из того, что некая «невидимая рука рынка» выдает всеобщее экономическое благосостояние из индивидуальных экономических действий ради собственной выгоды. В газете «Федералист» Мэдисон утверждал, что в достаточно большой республике различные политические «фракции», преследующие собственные интересы в эгоистических целях, способны при помощи некоего автоматического механизма создать видимость подходящей внутренней гармонии. Концепции разделения властей и принципа сдержек и противовесов, как их задумывал Монтескье и как они были воплощены в американской Конституции, отражали аналогичную точку зрения. Целью разделения властей было недопущение деспотии, а не достижение гармоничного правления. Каждая из ветвей управленческого комплекса, преследуя свои собственные интересы, сдерживала бы крайности и тем самым служила бы на пользу всего общества. Аналогичные принципы применялись и к международным делам. Предполагалось, что каждое государство, преследуя свои собственные эгоистичные интересы, так или иначе будет служить прогрессу, как будто какая-то невидимая рука гарантировала, что свобода выбора, имеющаяся у каждого государства, обеспечивала бы благополучие для всех.

Казалось, что на протяжении более столетия это ожидание оправдалось. После неурядиц, вызванных Великой французской революцией и Наполеоновскими войнами, руководители Европы восстановили баланс сил во время Венского конгресса 1815 года и смягчили грубую опору на силу в стремлении обуздать международное поведение введением моральных и правовых норм. И тем не менее к концу XIX века европейская система баланса сил вернулась к принципам силовой политики, и обстановка при этом была гораздо более неумолимой. Запугивание противника стало стандартным дипломатическим стилем, что вело к одной демонстрации силы за другой. В итоге в 1914 году возник кризис, от которого никто не смог уклониться. Европа никогда полностью не восстановила своего положения мирового лидера после этой катастрофы Первой мировой войны. В качестве доминирующего игрока вышли Соединенные Штаты, однако Вудро Вильсон вскоре дал ясно понять, что Америка отказывается играть по европейским правилам.

Америка никогда не участвовала в системе баланса сил. Накануне двух мировых войн Америка извлекала пользу от действия баланса сил, не будучи непосредственно вовлеченной в

его перипетии, и при этом позволяя себе роскошь резкой критики этой системы, как ей заблагорассудится. Во времена холодной войны, в мире, состоящем из двух держав, Америка вела идеологическую, политическую и стратегическую борьбу с Советским Союзом, которая осуществлялась в соответствии с принципами, отличавшимися от принципов системы баланса сил. В этом биполярном мире не могло быть и мысли о том, что существовавший конфликт приведет к всеобщему благополучию. Любое достижение одной стороны становилось потерей для другой. Америка в холодной войне фактически добилась победы без войны, победы, которая обязывает ее сейчас столкнуться с выбором, описанным Джорджем Бернардом Шоу: «В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться осуществления самого сокровенного желания. Вторая – добиться».

Американские руководители весьма часто трактовали свои ценности как нечто само собой разумеющееся, они редко осознавали, до какой степени эти ценности могут быть революционными и разрушающими привычный ход вещей для других. Ни одно другое общество не приходило к выводу о том, что принципы этического поведения применимы к международному поведению точно так же, как и к поведению отдельных личностей, – это понятие вступает в противоречие с *raison d'état*, то есть с понятием национальных интересов, авторство которого принадлежит Ришелье. Америка исходила из того, что предотвращение войны является столь же правовой, сколь и дипломатической проблемой, и что оно, это понятие, выступает не против перемен как таковых, а против методов осуществления этих перемен, особенно с применением силы. Какой-нибудь другой Бисмарк или Дизраэли посмеялся бы над предположением о том, что внешняя политика касается скорее методов, чем содержания вопроса, если бы он вообще что-то понял из этого. Ни одна другая страна не предъявляла к себе таких моральных требований, какие предъявляла к себе Америка. И ни одна страна не терзалась по поводу пропасти между своими моральными ценностями, носящими по определению абсолютный характер, и несовершенством, присущим для конкретных ситуаций, для которых они и предназначались.

В период холодной войны уникальный американский подход к внешней политике в значительной степени соответствовал вызову того времени. Имел место глубокий идейный конфликт, и только одна страна, а именно Соединенные Штаты, владела целым комплексом средств – политических, экономических и военных – для организации обороны некоммунистического мира. Страна, имевшая такие возможности, может настаивать на правоте своей точки зрения и зачастую избегать проблемы, стоящей перед государственными деятелями менее благополучных обществ. В этих случаях арсенал имеющихся у них средств обязывал тех добиваться менее честолюбивых целей, чем те, на которые они рассчитывали. При этом обстоятельства, в которых они оказывались, требовали от них лишь поэтапного достижения этих целей.

В мире холодной войны традиционные концепции силы в значительной степени потерпели неудачу. История по большей ее части демонстрировала сочетание военной, политической и экономической сил, которое в общем и целом было симметричным. В период холодной войны разные составные части силы были совершенно очевидны. Бывший Советский Союз был военной сверхдержавой и в то же самое время карликом в экономическом плане. Но вполне возможно, что другая страна могла быть экономическим гигантом, но в военном плане ничего не значить, как это было с Японией.

В мире после окончания холодной войны различные составные части, похоже, обретают все большее сходство и симметрию. Сравнительная военная мощь Соединенных Штатов будет постепенно падать. Отсутствие четко обозначенного противника вызовет давление внутри страны, направленное на переключение ресурсов с обороны на другие приоритеты, – такой процесс уже начался. Когда больше нет никакой общей угрозы и каждая страна рассматривает угрозы себе с точки зрения своих собственных национальных перспектив, то те общества, которые удобно пристроились под американской защитой, будут вынуждены брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. Следовательно, действие новой между-

народной системы станет стремиться к новому равновесию даже в военной области, хотя могут понадобиться десятки лет для того, чтобы прийти к такому положению. Такие тенденции будут еще заметнее в экономической области, в которой американское превосходство уже начинает падать и в которой будет менее опасно бросать вызов Соединенным Штатам.

Международная система XXI века будет примечательна неким кажущимся противоречием: с одной стороны, дроблением, а с другой, растущей глобализацией. На уровне взаимоотношений между государствами новый порядок больше будет похож на систему европейских государств XVIII–XIX веков, чем негибкая модель времен холодной войны. В него будут входить по меньшей мере шесть крупных держав, включая Соединенные Штаты, Европу, Китай, Японию, Россию и, возможно, Индию, а также множество средних и малых стран. В то же самое время международные отношения впервые в истории станут носить поистине глобальный характер. Связь становится моментальной; мировая экономика работает на всех континентах одновременно. Возникает целый ряд проблем, которые могут быть урегулированы только всеобщими усилиями, в их числе вопросы ядерного распространения, окружающей среды, демографического взрыва и экономической взаимозависимости.

Примирение разных ценностей и весьма разнообразного исторического опыта среди стран сопоставимой значимости станет новым опытом для Америки и важным отступлением как от изоляционизма XIX века, так и от фактической гегемонии периода холодной войны, способами, которые данная книга как раз и попытается осветить. Точно так же и другие крупные игроки на мировой арене сталкиваются с трудностями в деле встраивания в новый возникающий мировой порядок.

Европа, единственная часть современного мира, которая имеет опыт одновременного существования многих государств, изобрела концепцию национального государства, суверенитета и баланса сил. Эти идеи преобладали в международных делах почти все три столетия подряд. Но ни один из прежних приверженцев в Европе теории превосходства национальных интересов, *raison d'état*, не имеет достаточных сил для того, чтобы действовать в качестве лидеров в нарождающемся миропорядке. Они пытаются компенсировать свою относительную слабость созданием некоей единой Европы, на что направлена основная доля их усилий и энергии. Но даже если им удастся добиться успеха, у них нет никаких готовых руководящих пособий по поведению этой объединенной Европы на мировой арене, поскольку такого политического образования ранее никогда не существовало.

В течение всей своей истории Россия была особым случаем. Она позже вступила на европейскую авансцену – намного позже укрепления Франции и Великобритании, – и казалось, что ни один из традиционных принципов европейской дипломатии не применим к ней. Граница с тремя различными культурными регионами – Европой, Азией и мусульманским миром, – Россия по населению состояла из представителей каждого из них, и, следовательно, никогда не была национальным государством в европейском смысле этого понятия. Постоянно меняя свои размеры в силу того, что ее правители аннексировали сопредельные территории, Россия являлась империей, несопоставимой по своим масштабам ни с одной европейской страной. Более того, с каждым новым завоеванием характер государства менялся, поскольку оно включало в себя иную, совершенно новую и своенравную нерусскую этническую группу. Это было одной из причин того, что Россия считала для себя необходимым содержать огромные армии, чьи размеры никак не соответствовали какой-либо вероятной угрозе ее безопасности извне.

Разрываясь между навязчивым чувством опасности и миссионерским рвением, между запросами Европы и соблазнами Азии, Российская империя всегда играла определенную роль в европейском балансе сил, однако никогда не была духовно близка этой концепции. Требования завоеваний и потребности безопасности сливались в умах российских правителей. После Венского конгресса Российская империя размещала свои вооруженные силы на чужой земле гораздо чаще, чем какая-либо еще крупная держава. Аналитики часто объясняют рус-

ский экспансионизм результатом ощущения собственной незащищенности. Но русские писатели намного чаще оправдывали внешнюю направленность России мессианским призванием. Двигаясь в своем марше, Россия редко демонстрировала чувство меры; в том случае, если ей мешали, она стремилась уйти в угрюмое возмущение. На протяжении большей части своей истории Россия всегда пыталась использовать любую возможность для экспансии.

Посткоммунистическая Россия оказывается в пределах границ, которые не отражают ее исторического развития. Подобно Европе, ей понадобится потратить много энергии на пересмотр своей идентичности. Станет ли она пытаться вернуться к своему историческому ритму и восстановить утраченную империю? Сместит ли она центр тяжести на восток и будет принимать более активное участие в азиатской дипломатии? Какими принципами она будет руководствоваться и какие методы использовать в связи с разными беспорядками вокруг своих границ, особенно на Ближнем Востоке с его часто меняющейся обстановкой? Россия останется важной для мирового порядка и в случае неизбежных потрясений, связанных с ответами на эти вопросы, потенциальной угрозой для него.

Китай также сталкивается с новым для него миропорядком. На протяжении 2000 лет китайская империя объединила свой мир под самодержавной имперской властью. Разумеется, эта власть временами шаталась. Войны случались в Китае не реже, чем они происходили в Европе. Но поскольку они имели место среди претендентов на императорскую власть, то, скорее, имели природу гражданских войн, нежели международных. Они рано или поздно все равно вели к возникновению новой центральной власти.

До наступления XIX века у Китая никогда не было соседа, способного соперничать с ним в превосходстве, и он даже представить себе не мог, что такое государство может возникнуть. Иностранные завоеватели свергали китайские династии, но только для того, чтобы оказаться поглощенными китайской культурой до такой степени, что они сами уже продолжали традиции Среднего государства. Понятие суверенного равенства государств не существовало в Китае. Тех, кто жил за пределами Китая, считали варварами и относили к категории данников. Именно так принимали в XVIII веке в Пекине первого британского посланника. Китай не нисходил до того, чтобы направлять послов за границу, но не считал недостойным использовать дальних варваров для достижения победы над ближними. И тем не менее это была стратегия для чрезвычайных ситуаций, а не повседневная действующая система, подобная европейскому балансу сил. Именно поэтому она не смогла создать некоего постоянного дипломатического механизма, как было в Европе. После превращения Китая в XIX веке в объект унижения европейского колониализма он смог возродиться только совсем недавно – после Второй мировой войны, – войдя в многополюсный мир, который никогда не имел места в его прежней истории.

Япония также обрезала все контакты с внешним миром. В течение 500 лет до своего насильственного открытия коммодором Мэтью Перри в 1854 году Япония даже не снисходила до создания баланса среди варваров и натравливания их друг на друга или, как это сделали китайцы, изобретения отношений суверена и данников. Закрывшись от внешнего мира, Япония гордилась уникальностью своих обычаев, пестовала свои воинские традиции в гражданских войнах и строила свои внутренние структуры на основе убежденности в том, что ее уникальная культура останется невосприимчивой к иностранному влиянию, будет выше него и, в конце концов, скорее победит его, нежели сможет поглотить его.

Во время холодной войны, когда главной угрозой безопасности был Советский Союз, Япония смогла ассоциировать свою внешнюю политику с Америкой, находившейся за тысячи километров от нее. Новый мировой порядок с его многообразием проблем и вызовов со всей неизбежностью заставит страну, так гордящуюся своим прошлым, пересмотреть прежнюю опору на единственного союзника. Япония непременно станет более чувствительной к балансу сил в Азии, чем это будет, по всей вероятности, делать Америка, находящаяся в другом полушарии и смотрящая в трех направлениях – через Атлантический океан, через Тихий океан и в

направлении Южной Америки. Китай, Корея и Юго-Восточная Азия приобретут для Японии совершенно иное значение, чем для Соединенных Штатов, что приведет к более независимой и более ориентированной на собственные интересы японской внешней политике.

Что касается Индии, крупной державы в Южной Азии, то ее внешняя политика по многим параметрам напоминает остатки былой роскоши европейского империализма, растущего на дрожжах традиций древней культуры. До появления на субконтиненте англичан Индия на протяжении целого тысячелетия не управлялась как единое политическое целое. Британская колонизация проводилась малыми военными силами, потому что, во-первых, местное население рассматривало их как замену одного типа завоевателей другим. Но после установления единого правления произошел подрыв Британской империи в силу тех самых ценностей народного самоуправления и культурного национализма, привнесенных в Индию самой империей. И все же Индия новичок как национальное государство. Поглощенная борьбой за то, чтобы накормить свое огромное население, Индия занялась политической работой в Движении неприсоединения в период холодной войны. Но ей еще предстоит взять на себя роль, сопоставимую с ее масштабами на международной политической арене.

Таким образом, ни одна из самых важных стран, которым предстоит создавать новый миропорядок, не имеет никакого опыта взаимного общения в нарождающейся системе существования множества государств. Никогда прежде новый мировой порядок не формировался из стольких отличающихся друг от друга пониманий или в таком глобальном масштабе. И никогда ранее ни одному прежде существовавшему мировому порядку не приходилось объединять в себе признаки исторических систем баланса сил с представлениями о глобальной демократии, а также сделавшими рывок технологиями современного периода.

По-видимому, если бросить ретроспективный взгляд, все международные системы имеют неизменную симметрию. Коль скоро они создаются, трудно представить, как история стала бы развиваться, если бы принимались иные решения, либо действительно их выбор был бы вообще возможен. Когда некий международный порядок впервые становится реальностью, вероятно множество любых других выборов. Но при этом каждое принимаемое решение сокращает совокупность остающихся вариантов. И, поскольку сложность ограничивает гибкость, первый выбор всегда является особенно значимым. Станет ли международный порядок относительно стабильным, подобно тому, который возник после Венского конгресса, или будет подвержен большим колебаниям, как случилось после Вестфальского мира и Версальского договора, зависит от того, в какой степени эти порядки сочетают ощущение безопасности входящих в них обществ с тем, что они считают справедливым.

Две наиболее стабильные международные системы – та, которая была создана после Венского конгресса, и та, в которой доминируют Соединенные Штаты после Второй мировой войны, – имели преимущество в виде одинаковых восприятий сложившейся ситуации. Собравшиеся в Вене политики были аристократами, которые одинаково относились к нематериальной стороне жизни и приходили к взаимопониманию по фундаментальным вопросам. А американские руководители, формировавшие послевоенный мир, вышли из среды, в которой существовала интеллектуальная традиция исключительного взаимодействия и жизненной силы.

Порядок, формирующийся в настоящее время, будет создаваться политиками, представляющими сильно отличающиеся друг от друга культуры. Они возглавляют бюрократический аппарат такой сложности, что зачастую энергия этих деятелей по большей части уходит на обслуживание этого административного аппарата, чем на выдвижение какой-то руководящей цели. Они стали известны, благодаря качествам, не обязательным для управленческих задач и еще меньше подходящим для создания международного порядка. Единственной действующей моделью многонациональной системы стала система, сформированная западными обществами, которую многие ее члены, возможно, отвергают.

Тем не менее подъем и падение прежних миропорядков, в основе которых было участие многих государств – от Вестфальского мира до наших дней, – является, по сути, единственным опытом, который можно извлечь в попытке понять вызовы, стоящие перед современными государственными деятелями. Изучение истории не дает руководства к действию, применяемого сугубо автоматически. История учит на примерах, освещая вероятные последствия сходных ситуаций. Но каждое поколение должно решать для себя само, какие из обстоятельств на деле являются схожими.

Мыслящие люди анализируют работу международных систем; политики их создают. Построение перспективы аналитиком и видение мира политиком намного отличаются друг от друга. Аналитик может выбирать желательную для себя проблему для исследования, в то время как проблемы государственного деятеля встают перед ним не по его воле. Исследователь может потратить столько времени, сколько потребуется для того, чтобы прийти к четкому выводу; главной проблемой государственного деятеля является нехватка времени. Ученый ничем не рискует. Если его выводы окажутся ошибочными, он сможет написать новый научный труд. Политику позволено сделать только одну попытку; его ошибки непоправимы. Ученому специалисту доступны все факты; судить его будут по его умственным способностям. Политик должен вести себя на основе оценок, которые не могут быть подтверждены на момент их выработки. И судить его будет история на основании того, насколько мудрым он был при проведении неизбежных изменений, и, что важнее всего, как хорошо ему удастся сохранять мир. Именно по этой причине изучение того, как государственные деятели решали проблему мирового порядка – что работало, что не срабатывало и почему, – не является итогом понимания современной дипломатии, это скорее начальный этап ее понимания.

## Глава 2

### Кто предпочтительнее: Теодор Рузвельт или Вудро Вильсон

Вплоть до начала XX века изоляционистские тенденции преобладали в американской внешней политике. А потом два фактора запустили Америку на орбиту международных дел: ее стремительно нарастающая сила и постепенный крах международной системы, центром которой являлась Европа. Правления двух президентов обозначили своеобразный водораздел такого развития дел: Теодора Рузвельта и Вудро Вильсона. Эти деятели держали в своих руках власть, когда мировые дела втягивали в водоворот событий страну, которая всему этому сильно противилась. Они оба признавали, что Америке предстоит сыграть решающую роль в мировых делах, хотя обосновывали отказ от изоляции совершенно противоположными принципами.

Рузвельт был искушенным аналитиком в вопросе о балансе сил. Он настаивал на международной роли для Америки потому, что этого требовали ее национальные интересы, и потому, что глобальный баланс сил, по его мнению, был невыносим без американского участия. Для Вильсона же оправданием международной роли Америки служило мессианство: на Америке была обязанность не просто поддерживать баланс сил, а распространять свои принципы по всему миру. Во время работы администрации Вильсона Америка проявила себя ключевым игроком в мировых делах, провозглашавшим принципы, которые, хотя и проповедовали некие азбучные истины американского образа мышления, но тем не менее обозначали некий революционный отход от устоявшихся канонов для дипломатов Старого Света. Эти принципы утверждали, что мир зависит от хода распространения демократии, что о государствах следует судить по тем же этическим критериям, которые применимы и для отдельных личностей, и что национальные интересы включают в себя соблюдение всеобщей системы права.

Для умудренных ветеранов европейской дипломатии, в основе которой лежал баланс сил, взгляды Вильсона на сугубо моральные стороны внешней политики представлялись чужеродными и даже ханжескими. И тем не менее вильсоновство все это пережило, а история переступила через сдержанную позицию кое-кого из его современников. Вильсон первым смог представить универсальную всемирную организацию, Лигу Наций, которая предпочтет сохранять мир скорее на основе коллективной безопасности, чем путем создания альянсов. Хотя Вильсон не смог убедить свою собственную страну в ее достоинствах, эта идея продолжила свое существование. Главным образом под барабанный бой вильсоновского идеализма, именно с этого президентского водораздела американская внешняя политика шла вперед и продолжает свою поступь вплоть до сегодняшнего дня.

Единичный подход Америки к международным делам проявился не сразу, и он не был следствием вдохновения какой-то одиночки. В начале существования республики американская внешняя политика была фактически лишь сложным отражением американского национального интереса, состоявшим всего лишь в том, чтобы укреплять независимость нового государства. А поскольку ни одна европейская страна не представляла действительной угрозы, так как была вынуждена сама противостоять своим соперникам, отцы-основатели проявляли полную готовность манипулировать презируемым ими балансом сил, если это соответствовало их потребностям. И, действительно, они с большой ловкостью лавировали между Францией и Великобританией не только для того, чтобы сохранять независимость Америки, но и для расширения ее границ. В силу того, что отцы-основатели на самом деле не хотели убедительной победы ни той, ни другой стороны в войнах Великой французской революции, они объявили о своем нейтралитете. Джефферсон назвал наполеоновские войны соперничеством между тира-

ном суши (Франция) и тираном океана (Англия)<sup>1</sup> – другими словами, участники европейской борьбы с моральной точки зрения ничем не отличались друг от друга. Используя начальные формы политики неприсоединения, новое государство открыло для себя преимущества нейтралитета как инструмента получения уступок на переговорах, и это впоследствии делали многие новые государства.

Соединенные Штаты вместе с тем не доводили свои отрицания методов Старого Света до такой степени, чтобы отказываться от территориальной экспансии. Напротив, с самого начала своего существования Соединенные Штаты шли на экспансию в обеих Америках со всей возможной целеустремленностью и напористостью. После 1794 года ряд договоров закрепил границу Флориды с Канадой в пользу Америки, открыл реку Миссисипи для американской торговли и дал старт закреплению американских торговых интересов в Британской Вест-Индии. Этот процесс венчало приобретение Луизианы у Франции в 1803 году, что принесло молодой стране огромные, не закрепленные ни за кем территории к западу от реки Миссури, наряду с притязаниями на испанскую территорию во Флориде и Техасе, – что стало основой превращения в великую державу.

Руководитель Франции, который осуществил эту сделку, Наполеон Бонапарт, выдвинул объяснение в Старом Свете такой односторонней деловой операции: «Эта территориальная уступка навсегда закрепляет мощь Соединенных Штатов, и этим я только что дал Англии соперника на морях, который рано или поздно умерит ее гордыню»<sup>2</sup>. Американским государственным деятелям было все равно, какие оправдания Франция выдвигает при продаже собственных владений. В их глазах осуждение силовой политики Старого Света не выглядело несовместимым с американской территориальной экспансией. Поскольку они видели в продвижении Америки на запад скорее внутреннее дело Америки, чем вопрос внешней политики.

Именно в таком духе Джеймс Мэдисон осудил войну как корень всякого зла – как предвестника новых налогов и создания армий, а также всех прочих «инструментов подчинения многих господству немногих»<sup>3</sup>. Его преемник Джеймс Монро не видел противоречия в защите экспансии на запад на том основании, что это было необходимо для превращения Америки в великую державу:

«Для всех должно быть очевидно, что чем дальше осуществляется экспансия, при условии, что она остается в пределах справедливости, тем большей станет свобода действий обоих правительств (штата и федерального) и тем более совершенной станет их безопасность; и во всех прочих отношениях тем более благоприятными станут ее результаты для всего американского народа. Размеры территории, в зависимости от того, велики они или малы, в значительной степени характеризуют ту или иную нацию. Они свидетельствуют о масштабах ее ресурсов, численности населения, а также об ее физических силах. Короче говоря, они создают отличие между великой и малой державой»<sup>4</sup>.

И все же, даже временами используя приемы европейской силовой политики, руководители новой нации оставались приверженными принципам, сделавшим их страну исключитель-

---

<sup>1</sup> Robert W. Tucker and David C. Hendrickson. *Thomas Jefferson and American Foreign Policy*, (Такер Роберт У. и Хендриксон Дэвид С. *Томас Джефферсон и американская внешняя политика*). *Foreign Affairs*, vol. 69, no. 2 (Spring 1990), p. 148. (Здесь и далее – в случае нахождения источника, опубликованного на русском языке, к сноске автора в скобках дополнительно прилагается сноска переводчика. – Прим. перев.)

<sup>2</sup> Thomas G. Paterson, J. Garry Clifford and Kenneth J. Hagan. *American Foreign Policy. A History* (Паттерсон Томас Г., Клиффорд Дж. Гэрри и Хаган Кеннет Дж. *Американская внешняя политика. История*). (Lexington, Mass.: D. C. Heath, 1977), p. 60.

<sup>3</sup> Такер и Хендриксон. *Томас Джефферсон*. p. 140. Цитируется в: *Letters and Other Writings of James Madison*. (Письма и другие работы Джеймса Мэдисона). (Philadelphia: J. B. Lippincott, 1865), vol. IV, p. 491–92.

<sup>4</sup> Монро Джеймс цитируется в: William A. Williams (eds.). *The Shaping of American Diplomacy* (Формирование американской дипломатии). (Chicago: Rand McNally, 1956), vol. I, p. 122.

ной. Европейские державы вели бесчисленные войны для того, чтобы не допустить подъема потенциально настроенных на доминирование государств. В Америке комбинация ее собственной мощи и удаленности вселяла уверенность в том, что любая проблема может быть преодолена *после* ее проявления. Европейские страны с гораздо меньшим индивидуальным запасом прочности на выживание создавали коалиции в отношении самой *возможности* перемены. Америка была достаточно далеко, чтобы приводить в действие свою политику противостояния *реальности* какой-то перемены.

Такова была геополитическая основа предупреждения Джорджа Вашингтона против «постоянных» союзов, независимо от цели их создания. Было бы неразумно, говорил он, «связывать себя искусственными узами с заурядными превратностями ее (европейской) политики или со столь же заурядными коллизиями ее дружественных либо враждебных отношений. Наше географически отдаленное положение позволяет нам придерживаться иного курса»<sup>5</sup>.

Новая нация не восприняла совет Вашингтона как годный для применения, как геополитическое рассуждение, а отнеслась к нему как к духовному завещанию. Будучи хранилищем для принципа свободы, Америка считала естественным рассматривать безопасность, которую ей даровали два великих океана, как знак божественного провидения и объяснять собственные деяния высшим моральным озарением, а не каким-то запасом прочности в плане безопасности, которого не имеют никакие другие страны.

Суть внешней политики раннего периода республики состояла в убежденности в том, что постоянные войны в Европе это результат циничных методов государственной деятельности. В то время как европейские руководители основывали свою международную систему на убежденности в том, что гармонию можно получить из соперничества эгоистичных интересов, их американские коллеги представляли себе мир, где государства будут действовать как партнеры по совместной работе, а не как не доверяющие друг другу противники. Американские руководители отвергали европейскую идею о том, что принципы поведения государств должны оцениваться иными критериями, чем принципы поведения отдельных индивидуумов. По словам Джефферсона, «существует лишь одна этическая система и для людей, и для государств – быть благодарными, быть верными всем принятым на себя обязательствам при любых обстоятельствах, быть открытыми и великодушными, что в конечном счете и в равной степени послужит интересам и тех, и других»<sup>6</sup>.

Праведность тона голоса Америки – временами так раздражающе действующая на иностранцев – отразила тот реальный факт, что Америка на самом деле восстала не просто против узаконенных связей, которые привязывали ее к родине, а против европейской системы и ее ценностей. Америка приписывала частоту европейских войн преобладанию государственных структур, отрицавших ценности свободы и человеческого достоинства. «Поскольку война и есть система управления старой конструкции, – писал Томас Пейн, – вражда, которую нации испытывают друг к другу, является не чем иным, как порождением политики собственных правительств и следствием их подстрекательства, чтобы сохранить дух системы. ... Человек не является врагом человека, а лишь становится таковым вследствие фальши системы управления»<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Прощальное послание Джорджа Вашингтона 17 сентября 1796 года, перепечатано как: *Senate Document № 3, 102nd Cong., 1st sess. (Сенатский документ № 3, первая сессия конгресса США 102-го созыва)*. (Washington, D.C.: U. S. Government Printing Office, 1991), p. 24.

<sup>6</sup> Письмо Джефферсона г-же герцогине Довиль от 2 апреля 1790 года, в: Paul Leicester Ford, ed. *The Writings of Jefferson (Сочинения Джефферсона)*. (New York: G. P. Putnam's Sons, 1892–99), vol. V, p. 153, цитируется в: Такер и Хендриксон. *Томас Джефферсон*. С. 139.

<sup>7</sup> Thomas Paine. *Rights of Man* (1791) (Пэйн Томас. *Права человека*). (Secaucus, N. J.: Citadel Press, 1974), p. 147.

Идея о том, что мир зависит в первую очередь от распространения демократических институтов, остается основой американской философской мысли до настоящего времени. В Америке принято четко считать, что демократии не воюют друг с другом. Александр Гамильтон, например, ставил под сомнение предпосылку о том, что республики в большинстве своем более миролюбивы, чем другие формы правления:

«Спарта, Афины, Рим и Карфаген – все были республиками; две из них, Афины и Карфаген, – торгового типа. Тем не менее они вели в то время войны как наступательные, так и оборонительные, столь же часто, как соседние с ними монархии. ... В правительстве Великобритании представители народа составляют часть национального парламента. Главным занятием этой страны на протяжении веков была коммерция. Тем не менее немногие другие нации чаще вели войны...»<sup>8</sup>

Гамильтон, однако, представлял крайне небольшое меньшинство. Подавляющее большинство руководителей Америки были так же убеждены тогда, как и сейчас, в том, что на Америке лежит особая ответственность за повсеместное распространение имеющихся у нее ценностей как вклад в дело мира во всем мире. И тогда, и в настоящее время возникали разногласия в отношении этого постулата. Следует ли Америке активно содействовать распространению свободных демократических институтов в качестве главной цели своей внешней политики? Или ей следует только опираться на силу своего примера?

В начальные годы существования республики преобладающим было мнение о том, что нарождающаяся американская нация лучше всего может послужить делу демократии, реализуя свои добродетели у себя дома. По словам Томаса Джефферсона, «справедливое и прочное республиканское правительство» в Америке стало бы «вечным памятником и примером» для всех народов мира<sup>9</sup>. Годом позже Джефферсон вернулся к теме о том, что Америка фактически «работает за все человечество»: «...так как обстоятельства, которых не было у других, но которые были дарованы нам, возложили на нас обязанность доказать, каким должен быть уровень свободы и самоуправления, которыми общество могло бы наделить своих отдельных членов»<sup>10</sup>.

Акцент, который американские руководители сделали на моральные основы поведения Америки и на ее значение как символа свободы, привел к отрицанию избитых истин европейской дипломатии. Речь идет о том, что баланс сил выдает конечную гармонию как продукт соперничества эгоистических интересов, а также о том, что соображения безопасности стоят выше принципов гражданского права. Иными словами, цели государства оправдывают средства.

Такого рода беспрецедентные идеи выдвигались страной, процветавшей в течение всего XIX века, обеспечивая отличную работу своих институтов и отстаивая свои ценности. Америка осознавала, что нет противоречий между благородным принципом и потребностями выживания. Со временем призыв к морали как к средству разрешения международных споров стал причиной уникальной по своей природе двойственности и типично американского типа стра-

---

<sup>8</sup> Alexander Hamilton. "The Federalist № 6" (Гамильтон Александр. *Федералист*. № 6), в: Edward Mead Earle, ed. *The Federalist*. (New York: Modern Library, 1941), p. 30–31.

<sup>9</sup> Письмо Джефферсона Джону Дикинсону от 6 марта 1801 года, в: Adrienne Koch and William Peden, eds. *The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson* (*Жизнь и избранные сочинения Томаса Джефферсона*). (New York: Modern Library, 1944), p. 561.

<sup>10</sup> Письмо Джефферсона Джозефу Пристли от 19 июня 1802 года, в: Ford, ed. *Сочинения Джефферсона*, vol. VIII, p. 158–159, цитируется в: Robert W. Tucker and David C. Hendrickson. *Empire of Liberty: The Statecraft of Thomas Jefferson* (Тукер и Хендриксон. *Империя свободы: Государственная деятельность Томаса Джефферсона*). (New York/Oxford: Oxford University Press, 1990), p. 11.

даний. Если американцы должны были вкладывать в свою внешнюю политику тот же объем высокой нравственности, какой они вкладывали в свою личную жизнь, то чем же тогда надо было измерять безопасность? И действительно, если брать по самой высшей мерке, то значит ли все это, что выживание находится в зависимости от нравственного поведения? Или, быть может, приверженность Америки институтам свободы придает автоматически характер нравственного поступка даже самым очевидным эгоистическим действиям? И если это так, то каким образом это отличается от европейской концепции учета национальных интересов государства, согласно которой поступки государства могут быть оценены только по их успехам?

Два профессора, Роберт Такер и Дэвид Хендриксон, дали блестящий анализ этой двойственности американской философии:

«Большая дилемма искусства управления государством Джефферсона состоит в его отказе от признания средств, на которые государства всегда полностью полагались с целью обеспечения своей безопасности и удовлетворения своих амбиций, что, как правило, приводило именно к применению этих средств. Он желал, говоря другими словами, чтобы Америка получала и то, и другое, – чтобы она могла наслаждаться плодами своей мощи, не становясь жертвой обычных последствий ее применения»<sup>11</sup>.

До сегодняшнего дня эти два разновекторных подхода оставались одной из главных тем американской внешней политики. К 1820 году Соединенные Штаты нашли между этими двумя подходами компромисс, давший им возможность использовать и тот, и другой подходы вплоть до окончания Второй мировой войны. Они продолжали осуждать происходящее за океанами как достойный осуждения результат политики баланса сил, рассматривая свою собственную экспансию по территории Северной Америки как «Манифест судьбы», как некое ее предназначение.

До начала XX века американская внешняя политика в своей основе была совершенно простой: претворять в жизнь предназначение судьбы страны и оставаться не связанными никакими обязательствами за океаном. Америка оказывала помощь демократическим правительствам, где бы то ни было, но не предпринимала действий в подтверждение своих предпочтений. Джон Куинси Адамс, государственный секретарь в то время, так подытожил этот подход в 1821 году:

«Где бы ни были развернуты или будут развернуты в будущем знамена свободы и независимости, с ними будет ее (Америки) сердце, ее благословение и ее молитвы. Но она не пересечет своих границ в поисках монстров, чтобы их уничтожить. Она больше всех желает свободы и независимости. Но она отстаивает и защищает только собственную свободу и независимость»<sup>12</sup>.

Оборотной стороной этой политики американского самоограничения стало решение исключить европейскую силовую политику из Западного полушария, при необходимости используя некоторые из методов европейской дипломатии. Доктрина Монро, провозгласившая эту политику, возникла из попытки Священного союза, главными участниками которого были Россия, Пруссия и Австрия, подавить революцию в Испании в 1820-е годы. Выступавшая в принципе против вмешательства во внутренние дела Великобритании точно так же не хотела допускать Священный союз в Западное полушарие.

---

<sup>11</sup> Такер и Хендриксон. *Томас Джефферсон*. С. 141.

<sup>12</sup> Адамс Джон Куинси. Обращение 4 июля 1821 года, в: Walter LaFeber, ed. *John Quincy Adams and American Continental Empire* (Лафйбер Уолтер. *Джон Куинси Адамс и американская континентальная империя*). (Chicago: Times Books, 1965), p. 45.

Британский министр иностранных дел Джордж Каннинг предложил совместные действия Соединенным Штатам, стремясь не допустить, чтобы колонии Испании в обеих Америках попали в руки Священного союза. Он хотел быть уверенным в том, что, независимо от событий в Испании, никакая европейская держава не стала бы контролировать Латинскую Америку. Лишенная колоний Испания перестанет быть желанной добычей, как убеждал Каннинг, а это либо заставит отказаться от интервенции, либо сделает ее бессмысленной.

Джон Куинси Адамс понял британский ход мысли, однако не доверял тому, чем руководствовалась Британия. События происходили слишком скоро после британской оккупации Вашингтона в 1812 году, чтобы Америка стала на сторону бывшей метрополии. В силу этого Адамс настоял, чтобы президент Монро принял одностороннее американское решение о недопущении европейского колониализма на территории обеих Америк.

Провозглашенная в 1823 году доктрина Монро превращала океан, разделяющий Соединенные Штаты и Европу, в труднопреодолимое препятствие. До того времени главным правилом американской внешней политики было положение о том, что Соединенные Штаты не станут никогда втягиваться в европейскую борьбу за власть. Доктрина Монро стала еще одним шагом в том же направлении, так как она объявляла, что Европа не должна вмешиваться в американские дела. А представление Монро об американских делах – а это все Западное полушарие – носило поистине экспансионистский характер.

Более того, доктрина Монро не ограничивалась только провозглашением тех или иных принципов. Она весьма смело предупреждала европейские державы о готовности новой страны воевать для поддержки неприкосновенности Западного полушария. В ней объявлялось о том, что Соединенные Штаты станут рассматривать попытку со стороны Европы распространить свою систему власти «на любую часть этого полушария как представляющую опасность нашему миру и безопасности»<sup>13</sup>.

И, наконец, говоря менее изысканным, но гораздо более понятным языком, чем язык своего государственного секретаря двумя годами ранее, президент Монро клятвенно отрекся от какого-либо вмешательства в европейские противоречия: «Мы никогда не принимали участия в войнах европейских держав, касающихся их самих, такие действия не соответствуют нашей политике»<sup>14</sup>.

Америка в одно и то же время отворачивалась от Европы и освобождала руки для экспансии в Западном полушарии. Под прикрытием доктрины Монро Америка могла проводить политику, которая не так уж и отличалась от мечтательных планов любого европейского монарха – расширение своей торговли и сферы влияния, аннексия территории, – короче говоря, превращения в великую державу без необходимости проведения на деле силовой политики. Стремление Америки к экспансионизму и ее вера в то, что она является святее и принципиальнее любой другой страны Европы, никогда не наталкивались на какое-либо противоречие. Поскольку США не рассматривали свою экспансию как дело внешней политики, то могли применять свою силу для осуществления господства – над индейцами, над Мексикой, в Техасе – и делать это без всякого зазрения совести. Одним словом, внешняя политика Соединенных Штатов состояла в том, чтобы не иметь внешней политики.

Как Наполеон по отношению к сделке с Луизианой, так и Каннинг мог по праву хвастаться, что он заявил о существовании Нового Света и перестройке баланса сил в Старом Свете, поскольку Великобритания дала понять, что поддержит доктрину Монро силами королевского военно-морского флота. А Америка, несмотря на это, все же настаивала на переделке европейского баланса сил лишь для того, чтобы иметь возможность не допустить Священный союз в

---

<sup>13</sup> Послание президента Монро конгрессу США, 2 декабря 1823 года, в: Ruhl Bartlett, ed. *The Record of American Diplomacy (Архив американской дипломатии)*. (New York: Alfred A. Knopf, 1956), p. 182.

<sup>14</sup> Там же.

Западное полушарие. В остальном европейские державы должны были бы сами поддерживать равновесие, без американского участия.

До конца того столетия главной темой американской внешней политики было расширение сферы применения доктрины Монро. В 1823 году в соответствии с доктриной Монро европейские державы были предупреждены о том, чтобы они не вмешивались в дела Западного полушария. К наступлению 100-летнего юбилея доктрины Монро ее толкование постепенно расширялось с целью оправдания американской гегемонии в Западном полушарии. В 1845 году президент Полк объяснял включение Техаса в состав Соединенных Штатов как необходимость, предпринятую для недопущения превращения независимой республики в «союзника или зависимую территорию некоей иностранной нации, более мощной, чем они сами», и, следовательно, в угрозу американской безопасности<sup>15</sup>. Другими словами, доктрина Монро оправдывала американское вмешательство не только в случае существующей угрозы, но и в случае любой вероятности открытого вызова – во многом схоже с действиями по поддержанию европейского баланса сил.

Гражданская война на короткое время прервала занятость Америкой территориальной экспансией. Главной проблемой внешней политики Вашингтона на тот момент было недопущение признания европейскими государствами Конфедерации с тем, чтобы на территории Северной Америки не была создана система существования множества государств, а с этим и политика баланса сил европейской дипломатии. Но уже к 1868 году президент Эндрю Джонсон вернулся на старые позиции оправдания экспансии при помощи доктрины Монро, на этот раз при покупке Аляски:

«Иностранное владение или контроль над теми поселениями до сего времени сдерживали рост и ослабляли влияние Соединенных Штатов. Затяжные революции и анархия были бы столь же вредоносны»<sup>16</sup>.

Происходило нечто более существенное, чем просто экспансия по всему американскому континенту, хотя все прошло практически незаметно со стороны так называемых великих держав. В их клуб входил новый член, так как Соединенные Штаты стали самой мощной страной мира. К 1885 году Соединенные Штаты обогнали считавшуюся тогда крупнейшей индустриальной державой мира Великобританию по общему объему обрабатывающей промышленности. К концу столетия они потребляли больше энергии, чем Германия, Франция, Австро-Венгрия, Россия, Япония и Италия, вместе взятые<sup>17</sup>. За период между окончанием гражданской войны и наступлением нового столетия добыча угля в Америке выросла на 800 процентов, выпуск стальных рельсов – на 523 процента, длина железнодорожных путей – на 567 процентов, а производство пшеницы – на 256 процентов. Иммиграция привела к удвоению численности американского населения. И темпы роста, похоже, ускорились.

Еще ни одна страна не испытывала такие темпы роста своей мощи и при этом не пыталась направить ее на увеличение своего глобального влияния. Руководители Америки подверглись такому искушению. Государственный секретарь президента Эндрю Джонсона, Сьюард, видел в своих мечтах империю, включающую Канаду и большую часть Мексики, протянувшуюся в

---

<sup>15</sup> Инаугурационное обращение президента Джеймса Полка 4 марта 1845 года, в: *The Presidents Speak (Выступления президентов)*, annot. by David Newton Lott. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969), p. 95.

<sup>16</sup> Цитируется в: Williams, *Shaping of American Diplomacy*, vol. 1, p. 315 (Вильямс. *Формирование американской дипломатии*. Т. I. С. 315).

<sup>17</sup> См.: Paul Kennedy. *The Rise and Fall of Great Powers* (Кеннеди Пол. *Подъем и упадок великих держав*). (New York: Random House, 1987), p. 201 and p. 242ff; также: Fareed Zakaria. *The Rise of a Great Power, National Strength, State Structure, and American Foreign Policy 1865–1908* (unpublished doctoral thesis, Harvard University, 1992), chapter 3, p. 4ff. (Закария Фарид. *Подъем великой державы, национальное могущество, государственная структура и американская внешняя политика*, 1865–1908 годы, Гл. 3. С. 4 и сл.), (неопубликованная докторская диссертация, Гарвардский университет, 1992).

глубь Тихого океана. А администрация Гранта хотела аннексировать Доминиканскую республику и носилась с приобретением Кубы. То были инициативы, которые европейские лидеры того времени Дизраэли и Бисмарк поняли бы и одобрили бы.

Однако американский сенат сохранял нацеленность на внутренние приоритеты и сорвал все экспансионистские проекты. Он держал маленькую армию (25 тысяч человек), а флот слабым. Вплоть до 1890 года американская армия занимала 14-е место в мире после Болгарии, а американский военно-морской флот был меньше итальянского, хотя по промышленной мощи Америка была в 13 раз больше Италии. Америка не участвовала в международных конференциях, и к ней относились как к второразрядной державе. В 1880 году, когда Турция провела сокращение дипломатического персонала, она закрыла свои посольства в Швеции, Бельгии, Нидерландах и в Соединенных Штатах. В то же самое время один немецкий дипломат в Мадриде предложил сократить ему зарплату, только чтобы его не направляли на работу в Вашингтон<sup>18</sup>.

Но если страна достигает уровня мощи, равного мощи Америки периода после окончания гражданской войны, она не станет вечно сопротивляться искушению и использует эту мощь, чтобы занять важное положение на международной арене. В конце 1880-х годов Америка приступила к строительству своего военно-морского флота, который в 1880 году был меньше флотов Чили, Бразилии и Аргентины. В 1889 году министр ВМФ Бенджамин Трейси лоббировал строительство броненосцев, чему военно-морской историк того времени Альфред Тайер Мэхэн дал весьма рациональное толкование<sup>19</sup>.

Хотя на практике британские королевские военно-морские силы защищали Америку от опустошительных нападений европейских держав, американские руководители не воспринимали Великобританию защитницей своей страны. На протяжении всего XIX века Великобритания рассматривалась как самая большая проблема для американских интересов, а королевские военно-морские силы самой серьезной стратегической угрозой. Не удивительно, что, когда Америка стала демонстрировать свои мускулы, она попыталась избавить Западное полушарие от влияния Великобритании, прибегнув к доктрине Монро, которую Великобритания так поддерживала всеми средствами.

Соединенные Штаты отнюдь не деликатничали, столкнувшись с такой проблемой. В 1895 году государственный секретарь Ричард Олни применил доктрину Монро и предупредил Великобританию, сделав очевидную ссылку на дисбаланс сил. «В настоящее время, – писал он, – Соединенные Штаты являются практически сувереном на Американском континенте, и их воля является законом для всех, на кого они распространяют свое воздействие». Имеющиеся у Америки «неограниченные ресурсы в сочетании с изолированным расположением делают ее хозяином положения и практически неуязвимой для любой или любых других держав»<sup>20</sup>. Отказ Америки от силовой политики со всей очевидностью не распространялся на Западное полушарие. К 1902 году Великобритания отказалась от своих притязаний на ведущую роль в Центральной Америке.

Добившись превосходства в Западном полушарии, Соединенные Штаты начали выходить на более широкую арену международных дел. Америка превратилась в мировую державу почти вопреки самой себе. Расширяя свои границы на континенте, она установила свое господство по всем своим берегам, хотя и настаивала на том, что не имеет желания вести внешнюю политику, свойственную великой державе. В завершение этого процесса оказалось, что Америка обладает такой силой, которая делает ее главным международным фактором, независимо от ее собственных предпочтений. Руководители Америки могли бы продолжать настаивать на том,

---

<sup>18</sup> Закария, *там же*. С. 7–8.

<sup>19</sup> *Там же*. С. 71.

<sup>20</sup> Американская внешняя политика. С. 189.

что основная цель ее внешней политики состоит в том, чтобы служить в качестве «путеводной звезды» для остального человечества. Но уже нельзя отрицать, что некоторые из них также начинали понимать, что ее мощь дает Америке право на то, чтобы ее выслушивали по всем злободневным вопросам повестки дня, и что ей нет необходимости ожидать, пока все остальное человечество станет демократическим, чтобы стать частью международной системы.

Никто не сформулировал эту аргументацию так язвительно, как Теодор Рузвельт. Он был первым президентом, который настоял на том, что долг Америки в том, чтобы ее влияние ощущалось во всемирном масштабе и чтобы Америка строила свои отношения с внешним миром через призму концепции национального интереса. Как и его предшественники, Рузвельт был убежден в благотворной роли Америки. Однако, в отличие от них, Рузвельт считал, что у Америки есть подлинные внешнеполитические интересы, идущие далеко за пределы ее интереса, заключающегося в том, чтобы оставаться не втянутой в дела, которые ее не касаются. Рузвельт исходил из той предпосылки, что Соединенные Штаты являются державой, как и все другие, а не каким-то уникальным воплощением добродетелей. Если интересы страны вступали в противоречие с интересами других стран, то долгом Америки было использовать всю свою мощь для того, чтобы одержать победу.

Рузвельт предпринял первый шаг, придав доктрине Монро толкование, допускающее вмешательство, ассоциировав ее с империалистическими доктринами того времени. В послании конгрессу, которое он назвал «Поправкой» к доктрине Монро, 6 декабря 1904 года он объявил об исключительном праве на вмешательство со стороны «какой-либо цивилизованной нации», которое в Западном полушарии имеют право осуществлять только Соединенные Штаты. А именно: «...в Западном полушарии следование Соединенными Штатами доктрине Монро может вынудить их, возможно, и против своей воли, в вопиющих случаях таких нарушений законности или проявления бессилия, к выполнению обязанностей международной полицейской державы»<sup>21</sup>.

Практические действия Рузвельта предвещали его наставления. В 1902 году Америка заставила Гаити выплатить свои долги европейским банкам. В 1903 году она раздула беспорядки в Панаме до крупномасштабного восстания. Местное население с американской помощью вырвало независимость у Колумбии, но не ранее, чем Вашингтон взял под суверенитет Соединенных Штатов «зону Панамского канала» по обе стороны от того, что потом должно было стать Панамским каналом. В 1905 году Соединенные Штаты установили финансовый протекторат над Доминиканской республикой. А в 1906 году американские войска оккупировали Кубу.

Силовая дипломатия в Западном полушарии была для Рузвельта частью новой глобальной роли Америки. Два океана больше не были достаточно широки, чтобы изолировать Америку от внешнего мира. Соединенные Штаты стали игроком на международной арене. Об этом он сказал в послании конгрессу за 1902 год: «Все больше растущая взаимозависимость и сложность международных политических и экономических отношений требует от всех цивилизованных и соблюдающих закон и порядок стран настаивать на осуществлении надлежащего надзора за порядком в мире»<sup>22</sup>.

Рузвельт занимает уникальную позицию в истории формирования внешней политики Америки. Ни один другой президент не определял роль Америки в мире без такого полного учета национального интереса, или не с такой полнотой идентифицировал национальный интерес с балансом сил. Рузвельт разделял мнение своих соотечественников в том, что Америка является главной надеждой всего мира. Однако в отличие от большинства из них, он не считал,

---

<sup>21</sup> Ежегодное послание президента Рузвельта конгрессу США 6 декабря 1904 года, в: Bartlett, ed. *The Record of American Diplomacy*, p. 539 (Архив американской дипломатии).

<sup>22</sup> Заявление Рузвельта конгрессу США, 1902 год, цит. по: John Morton Blum. *The Republican Roosevelt* (Блум Джон Мортон. *Республиканец Рузвельт*). (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967), p. 127.

что она способна сохранять мир или выполнить свое предназначение просто посредством распространения гражданских добродетелей. В своем восприятии характера мирового порядка он стоял гораздо ближе к Пальмерстону и Дизраэли, чем к Томасу Джефферсону.

Великий президент должен быть просветителем, наводящим мосты между будущим и нынешним существованием своего народа. Рузвельт проповедовал особенно суровую доктрину для народа, воспитанного в вере в то, что мир является нормальным состоянием отношений между государствами, что нет отличий между личной и общественной моралью и что Америка надежно защищена от пертурбаций, сотрясающих остальные страны. Сам же Рузвельт отвергал все эти максимы. Для него международная жизнь означала борьбу, а теория Дарвина о выживании наиболее приспособленных была самым лучшим руководством по истории, чем личная мораль. С точки зрения Рузвельта, кроткие унаследовали бы Землю только в том случае, если бы они были сильными<sup>23</sup>. По его мнению, Америка была не вопросом, требующим решения, а великой державой – потенциально самой великой. Он уповал на то, что станет президентом, которому предопределено судьбой повести свою страну на мировую арену, чтобы она смогла определять облик XX века таким же образом, как Великобритания доминировала в XIX веке, – как страна огромнейшей мощи, которая вызвалась со всей сдержанностью и мудростью трудиться на благо стабильности, мира и прогресса.

Рузвельт был нетерпим к множеству извинительных мотивов, господствовавших в американском мышлении по вопросам внешней политики. Он отрицал силу международного права. То, что страна неспособна отстоять своей собственной мощью, не может быть обеспечено международным сообществом. Он отвергал разоружение, которое тогда только проявилось как международная тема:

«Пока еще нет никаких перспектив установления некоей международной силы... которая может эффективно контролировать противоправные деяния. В таких условиях было бы крайне глупо и даже преступно для великой и свободной державы отказываться от своей силы в деле защиты собственных прав, а в исключительных случаях и выступить в защиту прав других. Ничто не может породить большего беззакония... как преднамеренное лишение себя сил, в то время как деспотизм и варварство остаются во всеоружии»<sup>24</sup>.

Рузвельт был еще более язвителен, когда речь заходила о мировом правительстве:

«Я считаю отвратительным подход Вильсона – Бриана с их доверчивым отношением к нереальным мирным договорам, к возможным обещаниям, ко всем видам листков бумаги, не подкрепленным действенной силой. Было бы намного лучше как для отдельной страны, так и для мира в целом рассматривать внешнюю политику в традициях Фридриха Великого и Бисмарка, а не с позиций постоянного национального подхода Бриана или подхода Бриана – Вильсона. ... Не подкрепленная силой бесхребетная правота до такой же степени зловердна и даже более злонамеренна, чем сила, далекая от справедливости»<sup>25</sup>.

В регулируемом с помощью силы мире, как считал Рузвельт, естественный порядок вещей отражается в концепции о «сферах влияния». Согласно этой концепции господствующее влияние на обширные регионы оказывали бы те или иные конкретные державы, к примеру, Соединенные Штаты в Западной полушарии или Великобритания на Индийском субконтин-

---

<sup>23</sup> В Евангелии от Матфея (5:5) сказано: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». (Библия. Новый Завет.) – *Прим. перев.*

<sup>24</sup> Там же. С. 137.

<sup>25</sup> Письмо Рузвельта Хьюго Манстербергу от 3 октября 1914 года, в: Elting E. Morison, ed. *The Letters of Theodore Roosevelt (Письма Теодора Рузвельта)*. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1954), vol. VIII, p. 824–25.

ненте. В 1908 году Рузвельт неохотно согласился с японской оккупацией Кореи, потому что, согласно его образу мысли, японско-корейские отношения должны были бы регулироваться соотношением сил каждой из этих стран, а не положениями какого-то договора или в соответствии с международным правом:

«Япония стала полновластной «хозяйкой» Кореи. И, конечно, согласно договору было торжественно обговорено, что Корея останется независимой. Но Корея оказалась не в состоянии выполнить этот договор, поэтому совершенно неуместно предполагать, что какая-то другая страна... попытается сделать за корейцев то, что сами совершенно не способны сделать для самих себя»<sup>26</sup>.

Учитывая, что Рузвельт придерживался таких взглядов европейского толка, было неудивительно, что он относился к глобальному балансу сил с такой тонкостью, какой не демонстрировал ни один другой американский президент, за исключением Ричарда Никсона. Вначале Рузвельт не считал необходимым втягивать Америку в специфические детали европейского баланса сил, потому что полагал его более или менее саморегулирующимся. Однако он почти не сомневался в том, что, если подобное суждение окажется ошибочным, он станет настаивать на том, чтобы Америка подключилась к этой системе с целью восстановления равновесия. Постепенно Рузвельт пришел к пониманию того, что Германия представляет собой угрозу европейскому балансу, и стал связывать национальный интерес Америки с национальным интересом Великобритании и Франции.

Такой подход был продемонстрирован в 1906 году во время Альхесирасской конференции, целью которой было урегулирование будущего Марокко. Германия, настаивавшая на «открытых дверях» для себя, чтобы не допустить французского доминирования, потребовала включения американского представителя, поскольку считала, что Америка имеет там значительные торговые интересы. Так или иначе, американцы были представлены на этом мероприятии в Марокко своим послом в Италии, однако сыгранная им роль не оправдала надежд немцев. Рузвельт поставил торговые интересы Америки в подчиненное положение – они, в любом случае, были не так уж и велики – по сравнению со своими геополитическими представлениями. Последние были отражены Генри Кэботом Лоджем в письме Рузвельту в разгар марокканского кризиса. «Франция, – говорил он, – должна быть с нами и с Англией – в нашей зоне и в нашей группе. Это рациональная договоренность, как в экономическом, так и в политическом плане»<sup>27</sup>.

В то время как в Европе Рузвельт считал Германию главной угрозой, в Азии его заботили устремления России, в силу чего он оказывал предпочтение Японии, главному противнику России. «В мире больше нет такой страны, которая больше России держала бы в своих руках судьбу грядущих лет», – заявил Рузвельт<sup>28</sup>. В 1904 году Япония, получившая защиту в союзе с Великобританией, напала на Россию. Хотя Рузвельт объявил об американском нейтралитете, он склонялся на сторону Японии. Победа России, как доказывал он, стала бы «ударом по цивилизации»<sup>29</sup>. А когда Япония уничтожила русский флот, он радовался: «Я был полностью доволен японской победой, так как Япония играла в нашу игру»<sup>30</sup>.

---

<sup>26</sup> Блум. *Республиканец Рузвельт*. С. 131.

<sup>27</sup> Selections from the Correspondence of Theodore Roosevelt and Henry Cabot Lodge, 1884–1918 (*Избранная переписка Теодора Рузвельта и Генри Кэбота Лоджа, 1884–1918 годы*), ed. by Henry Cabot Lodge and Charles E. Redmond. (New York/London: Charles Scribner's Sons, 1925), vol. II, p. 162.

<sup>28</sup> Блум. *Республиканец Рузвельт*. С. 135.

<sup>29</sup> Там же. С. 134.

<sup>30</sup> Цитируется в: John Milton Cooper, Jr. *Pivotal Decades: The United States, 1900–1920* (Купер-мл. Джон Милтон. *Поворотные десятилетия. Соединенные Штаты в 1900–1920 годах*, (New York/London: W. W. Norton, 1990), p. 103.

Он скорее хотел ослабления России, чем полного ее вывода из системы баланса сил, – поскольку согласно основополагающим принципам дипломатии баланса сил чрезмерное ослабление России приведет японскую угрозу на смену русской. Рузвельт понимал, что лучше всего служившим интересам Америки исходом представлялся такой, при котором Россию «следовало бы столкнуть лицом к лицу с Японией так, чтобы каждая из них оказывала сдерживающее воздействие на другую»<sup>31</sup>.

Руководствуясь скорее геополитическим реализмом, чем благородным альтруизмом, Рузвельт пригласил обе воюющие стороны направить своих представителей в его резиденцию в Ойстер-Бей для разработки мирного договора, который был заключен в итоге в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир. Договор устанавливал пределы японской победы и сохранял равновесие на Дальнем Востоке. В результате Рузвельт стал первым американцем, удостоенным Нобелевской премии мира за достижение урегулирования на основе таких высших принципов, максимах, как баланс сил и сферы влияния, которые по воле его преемника Вильсона уже окажутся совершенно неамериканскими.

В 1914 году Рузвельт изначально сравнительно беспристрастно отнесся к вторжению Германии в Бельгию и Люксембург, хотя оно шло в вопиющее противоречие с договорами, устанавливавшими нейтралитет этих двух стран:

«Я не становлюсь ни на ту, ни на другую сторону в вопросе о нарушении или неуважении к этим договорам. Когда гиганты вступают в смертельную схватку, как сходятся и расходятся, будто в танце, они вполне могут наступить на кого-то, кто окажется на пути у этих огромных, утомившихся в битве бойцов, *до тех пор пока будет не опасно так поступать*»<sup>32</sup>.

Через несколько месяцев после начала войны в Европе Рузвельт уже пересмотрел свое изначальное суждение относительно нарушения бельгийского нейтралитета. Хотя, примечательно, беспокоила его не незаконность германского вторжения, а угроза, возникшая для баланса сил: «... разве вы не считаете, что если бы Германия выиграла эту войну, разгромила бы английский флот и разрушила бы Британскую империю, то через год-два она стала бы настаивать на установлении господствующего положения в Южной и Центральной Америке?..»<sup>33</sup>

Он настоял на масштабных перевооружениях с тем, чтобы Америка смогла всем своим авторитетом поддержать Антанту. Он рассматривал победу Германии как вполне вероятную, так и весьма опасную для Соединенных Штатов. Победа же блока Центральных держав лишила бы их защиты со стороны британского военно-морского флота, позволив германскому империализму утвердиться в Западном полушарии.

Причиной того, что Рузвельт, должно быть, полагал британский военно-морской контроль над Атлантикой более безопасным, чем гегемонию Германии, были такие нематериальные и не имеющие к балансу сил факторы, как культурное родство и исторический опыт. И действительно, существовали сильные культурные связи между Англией и Америкой, не имевшие аналога в отношениях между США и Германией. Более того, Соединенные Штаты привыкли к тому, что Британия правила морями, и вполне свыклись с этой идеей, более не подозревая Великобританию в экспансионистских намерениях в обеих Америках. Германия, однако, воспринималась с опаской. 3 октября 1914 года Рузвельт писал британскому послу в Вашингтоне (удобно позабыв о своем прежнем суждении относительно неизбежности игнорирования Гер-

---

<sup>31</sup> Блум. *Республиканец Рузвельт*. С. 134.

<sup>32</sup> Рузвельт в: *Outlook*, vol. 107 (August 22, 1914), p. 1012.

<sup>33</sup> Письмо Рузвельта Манстербергу от 3 октября 1914 года, в: Morison, ed. *Letters of Theodor Roosevelt (Письма Теодора Рузвельта)*, p. 823.

манией нейтралитета Бельгии), что: «Если бы я был Президентом, я бы выступил (против Германии) 13 или 31 июля»<sup>34</sup>.

В письме Редьярду Кипплингу месяцем позже Рузвельт признался в трудностях, с которыми приходится сталкиваться, чтобы попытаться с американской мощью оказать воздействие на эту европейскую войну, исходя из его личных убеждений. Американский народ не желал следовать задаваемому ходу действий, с такой очевидностью сформулированному в терминах силовой политики:

«Если бы мне надо было отстаивать все то, во что я сам верю, я вряд ли принес пользу нашему народу, потому что народ ни за что не пошел бы за мной. Наш народ недалёковиден и не разбирается в международных вопросах. Ваш народ тоже не видит перспектив, но он не настолько близорук, как наш, в этих вопросах. ... Благодаря ширине океана, наш народ полагает, что ему нечего бояться в нынешнем столкновении и что у него нет никакой ответственности в связи с этим»<sup>35</sup>.

Если бы американское мышление во внешнеполитических вопросах достигло высшей точки в воззрениях Теодора Рузвельта, то его можно было бы описать как эволюцию приспособления традиционных принципов европейской государственной мудрости к американским условиям. Рузвельта рассматривали бы как президента, который находился у власти, когда Соединенные Штаты, установив господствующее положение в Северной и Южной Америке, стали оказывать свое влияние как мировая держава. Но американское внешнеполитическое мышление не остановилось на Рузвельте, да и не могло на нем остановиться. Руководитель, который соизмеряет свою роль с имеющимся у его народа опытом, обрекает себя на стагнацию; а руководитель, который опережает опыт своего народа, рискует оказаться непонятым. Ни накопленный опыт, ни имевшиеся ценности не подготовили Америку к роли, определенной для нее Рузвельтом.

В одном из парадоксов истории Америка, в конце концов, осуществила руководящую роль, которую Рузвельт предвидел для нее. И случилось это еще при жизни Рузвельта. Однако сделано это было на основе принципов, которые отвергались Рузвельтом, и под руководством президента, которого Рузвельт презирал. Вудро Вильсон был воплощением традиции американской исключительности, он стал автором того, что впоследствии стало господствующей интеллектуальной школой американской внешней политики – школой, предписания которой Рузвельт в лучшем случае посчитал бы ничего не значащими, а в худшем – вредными для долгосрочных интересов Америки.

Если оценивать Рузвельта по меркам устоявшихся принципов государственного ума, то из двух этих величайших президентов Америки он был в более выигрышной позиции. Тем не менее победил именно Вильсон. Через столетие Рузвельта будут помнить за его достижения, но именно Вильсон как раз формировал американское мышление. Рузвельт понял, как международная политика работает среди стран, определявших в то время состояние мировых дел, – ни один американский президент не обладал более острым и проницательным проникновением в суть действия международных систем. И все же именно Вильсон уловил главные движущие силы американских мотивировок и, возможно, самую главную из них, которая состояла в том, что Америка просто не представляла себя похожей на другие страны. Ей недоставало ни теоретической, ни практической базы для дипломатии европейского типа, чтобы постоянно при-

---

<sup>34</sup> Письмо Рузвельта Сесилу Артуру Спринг-Райсу от 3 октября 1914 года. *Там же*. С. 821.

<sup>35</sup> Письмо Рузвельта Редьярду Кипплингу от 4 ноября 1914 года, в: Robert Endicott Osgood. *Ideals and Self-Interest in America's Foreign Relations* (Осгуд Роберт Эндикотт. *Идеалы и эгоистические интересы в американских внешних отношениях*). (Chicago: University of Chicago Press, 1953), p. 137.

способливать различные тонкости в плане силы, действуя с позиции морального нейтралитета ради единственной цели сохранения постоянно меняющегося баланса сил. Какими бы ни были реальности и уроки силовой политики, американский народ в основном склонялся к убеждению в том, что его исключительность коренится в практическом применении и распространении свободы.

Американцев можно сподвигнуть на великие дела, только продемонстрировав им нечто, что совпадало бы с их представлениями об исключительности своей страны. Подход Рузвельта, как бы ни был он интеллектуально гармоничен со стилем дипломатии, который фактически осуществляли великие державы, не смог убедить его соотечественников в том, что им следует вступить в Первую мировую войну. С другой стороны, Вильсону удалось ослабить накал страстей своего народа при помощи доводов, которые были как морально возвышенными, так и по большей части непонятными для иностранных руководителей.

Успех Вильсона был потрясающим. Отвергая силовую политику, он знал, какие чувствительные струны следует затронуть у американского народа. Пришедший в политику сравнительно поздно, ученый оказался избранным благодаря расколу в Республиканской партии между Тафтом и Рузвельтом. Вильсон понял, что интуитивный изоляционизм Америки может быть преодолен только при помощи призыва к ее вере в исключительную природу идеалов страны. Шаг за шагом он продвигал настроенную изоляционистски страну к вступлению в войну, а потом продемонстрировал приверженность своей администрации миру страстной защитой нейтралитета. И проделал он это, отрекаясь от каких бы то ни было национальных интересов и утверждая, что Америка не стремится ни к каким иным выгодам, кроме отстаивания своих принципов.

В своем первом обращении «О положении в стране» 2 декабря 1913 года Вильсон заложил ориентиры того, что потом стало известно под термином вильсонизм. По мнению Вильсона, всеобщее право, а отнюдь не равновесие, национальная надежность, а не национальное самоутверждение являлись фундаментом международного порядка. Рекомендую ратифицировать несколько договоров об арбитражном разбирательстве, Вильсон утверждал, что обязательный арбитраж, а не сила должны стать методом урегулирования международных споров:

«Есть только одно возможное мерило, при помощи которого определяются разногласия между Соединенными Штатами и другими странами, и оно состоит из двух составных частей: нашей собственной чести и нашего собственного обязательства по обеспечению мира во всем мире. Составленный на такой основе тест на поверку можно с легкостью применить к регулированию как правил вступления в договорные обязательства, так и толкования ранее принятых»<sup>36</sup>.

Ничто так не раздражало Рузвельта, как пышные принципы, не подкрепленные ни силой, ни волей, нацеленной на их реализацию. Он написал одному своему другу: «Если мне придется выбирать между силовой и слабОВОЛЬНОЙ политикой... так что же, я выступаю за силовую политику. Так лучше не только для страны, но и в долгосрочном плане для всего мира»<sup>37</sup>.

По той же причине предложение Рузвельта отреагировать на войну в Европе увеличением расходов на оборону не имело никакого смысла для Вильсона. В своем обращении к конгрессу США «О положении в стране» от 8 декабря 1914 года и после того, как европейская война бушевала уже четыре месяца, Вильсон отказался увеличить затраты на вооружение Америки. По его мнению, это означало бы, что «мы утратили самообладание из-за войны, при-

---

<sup>36</sup> Вильсон Вудро. Ежегодное обращение к конгрессу США «О положении в стране» от 2 декабря 1913 года, в: Arthur S. Link, ed. *The Papers of Woodrow Wilson (Документы Вудро Вильсона)*. (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1966) Vol. 29, p. 4.

<sup>37</sup> Письмо Рузвельта другу, декабрь 1914 года, цитируется в: Остуд. *Идеалы и эгоистические интересы*. С. 144.

чины которой нас не касаются, а сама она предоставляет нам возможности для установления дружественных отношений и бескорыстных услуг...»<sup>38</sup>

Согласно воззрениям Вильсона, влияние Америки зависело от ее бескорыстия. Ей следовало сохранять себя так, чтобы в итоге страна могла выступить заслуживающим доверие арбитром между воюющими сторонами. Рузвельт ранее утверждал, что война в Европе, и особенно победа Германии, в конечном счете угрожала бы американской безопасности. Вильсон же исходил из того, что Америка по своей сути не заинтересованная сторона, а следовательно, должна выступить в качестве посредника. В силу того, что Америка верит в ценности более высокие, чем баланс сил, война в Европе теперь дает ей уникальную возможность привлечь на свою сторону выступающих за новый и лучший подход к международным делам.

Рузвельт высмеивал подобные идеи и обвинил Вильсона в том, что он потворствует изоляционистским настроениям для того, чтобы помочь своему переизбранию в 1916 году. Фактически же упор политики Вильсона имел совершенно противоположный изоляционизму характер. Вильсон проповедовал не отход Америки от внешнего мира, а универсальное применение своих ценностей и со временем обязательство Америки по их распространению. Вильсон подтвердил то, что стало американскими общепризнанными истинами со времен Джефферсона, но поставил их на службу идеологии крестовых походов:

- Особая миссия Америки выходит за пределы повседневной дипломатии и обязывает ее быть светочем свободы для остального человечества.
- Внешняя политика демократических стран в моральном плане гораздо выше, потому что их народы миролюбивы по своей природе.
- Внешняя политика должна отражать те же самые моральные стандарты, что и этика личных отношений.
- Государство не имеет права претендовать на особую мораль для себя.

Вильсон придал универсальный характер этим суждениям об американской моральной исключительности:

«Нам нечего бояться мощи какой-либо другой страны. Мы не завидуем и не соперничаем ни с кем ни в сфере торговли, ни в каком-либо другом мирном достижении. Мы намерены жить сами по себе так, как нам нравится; но мы также не намерены мешать жить другим. Мы действительно являемся настоящими друзьями всех стран мира, потому что мы не угрожаем никому, не возжелаем собственности никого другого и не имеем желания кого-либо ниспровергать»<sup>39</sup>.

Ни одна другая страна не строила свои притязания на международное лидерство на основе альтруизма. Все другие страны пытались добиться оценки своей деятельности на основе сопоставимости своих национальных интересов с интересами других обществ. И все же, начиная с Вудро Вильсона (и это есть у Джорджа Буша), американские президенты задействовали бескорыстие страны в качестве главного отличительного признака своей руководящей роли. Ни Вильсон, ни его более поздние ученики, вплоть до нынешних, никогда не хотели разбираться в том, что для иностранных руководителей, воспитанных на менее возвышенных принципах, заявка Америки на альтруизм вызывает определенную ауру непредсказуемости. В то время как национальный интерес может быть зафиксирован в материальной форме, альтруизм, или бескорыстие, зависит от собственного понимания его тем, кто это понятие осуществляет.

---

<sup>38</sup> Вильсон Вудро. Ежегодное обращение к конгрессу США «О положении в стране» от 8 декабря 1914 года, в: Link, ed. *The Papers of Woodrow Wilson, (Документы Вудро Вильсона) vol. 31, p. 423.*

<sup>39</sup> Там же. С. 422.

Для Вильсона, однако, альтруистическая природа американского общества была подтверждением Божьей милости:

«Случилось так, будто по Божьему Промыслу целый континент оставался необжитым и ожидал мирных людей, любивших свободу и права человека больше всего на свете, чтобы они пришли и установили там альтруистское сообщество»<sup>40</sup>.

Претензия на то, что американские цели были, по сути, ниспосланной Богом особой милостью, подразумевало мировую роль Америки, которая окажется более всеохватывающей, чем та, которую Рузвельт мог предполагать. Он всего лишь хотел отладить систему баланса сил и определить в ней роль Америки с учетом важности и в соответствии с ее растущей мощью. Согласно концепции Рузвельта, Америка должна была бы стать одной страной среди многих – более мощной, чем большинство, и частью группы элиты великих держав, – но по-прежнему подчиняющейся историческим законам равновесия.

Вильсон перевел Америку в совершенно иную, чем эти рассуждения, плоскость. Отрицая баланс сил, он утверждал, что роль Америки заключалась «в том, чтобы не доказывать... наш эгоизм, а наше величие»<sup>41</sup>. И если это соответствовало действительности, то у Америки не было права утаивать свои ценности для себя одной. Еще в 1915 году Вильсон выдвинул беспрецедентную доктрину о том, что безопасность Америки неотделима от безопасности *всего* остального человечества. Это подразумевало, что долг Америки отныне заключается в борьбе с агрессией *повсюду*:

«...потому, что мы требуем безопасного развития и беспрепятственного распоряжения собственными жизнями, руководствуясь принципами права и свободы, что мы отвергаем агрессию, откуда она бы ни шла, так как сами мы не занимаемся этим. Мы настаиваем на безопасности для обеспечения следования избранным нами путем национального развития. И мы идем дальше этого. Мы требуем этого и для других. Мы не ограничиваем наш энтузиазм в отношении личных свобод и свободного национального развития лишь какими-то отдельными эпизодами и динамикой дел, оказывающих воздействие только на нас одних. Мы испытываем его всегда, когда живет народ, который старается идти этими трудными путями независимости и справедливости»<sup>42</sup>.

Представление об Америке как о милосердном мировом жандарме было предвестником политики сдерживания, которая станет разворачиваться после Второй мировой войны.

Даже в самых буйных фантазиях Рузвельт не мечтал о таком всеохватном заявлении, ставшим провозвестником мирового интервенционизма. Но потом он ведь был политиком-воином. Вильсон же был пророком-священником. Государственные деятели, даже будучи воителями, сосредоточивают все свое внимание на мире, в котором они живут. Пророки же воспринимают «реальный» мир как мир, который они хотят создать.

Вильсон преобразовал то, что начиналось как утверждение американского нейтралитета, в набор предложений, закладывавших основы для мирового крестового похода. По мнению Вильсона, не было никакой существенной разницы между свободой для Америки и свободой для всего мира. Доказывая, что время, проведенное на факультетских встречах, на которых

---

<sup>40</sup> Вильсон Вудро. Обращение к выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте 13 июня 1916 года, в: *Там же*. Т. 37. С. 212 и сл.

<sup>41</sup> Вильсон Вудро. Высказывания на встрече ветеранов-конфедератов в Вашингтоне 5 июня 1917 года, в: *Там же*. Т. 42. С. 453.

<sup>42</sup> Вильсон Вудро. Ежегодное обращение к конгрессу США «О положении в стране» от 7 декабря 1915 года, в: *Там же*. Т. 35. С. 297.

правят бал пустяковые доводы, было потрачено не напрасно, Вильсон разработал исключительную по своей силе интерпретацию того, что именно имел в виду Джордж Вашингтон, когда предостерегал против ввязывания в чуждые для нас дела. Вильсон дал такое свое определение слову «чуждые», что оно, несомненно, удивило бы первого президента. По словам Вильсона, Вашингтон имел в виду, что Америка должна избегать втягивания в *цели* других. Но, судя по заявлению Вильсона, все, что «касается человечества, не может быть чуждым или безразличным для нас»<sup>43</sup>. Из этого выходит, что Америка имеет не ограниченное ничем право заниматься всякими делами за границей.

Какое страшное самомнение надо иметь, чтобы получить добро на мировую интервенцию вопреки строжайшему запрету одного из отцов-основателей на вмешательство в чужие дела, а также чтобы выработать некую философию нейтралитета, которая сделала неизбежным подключение к войне! Подталкивая свою страну все ближе к мировой войне, ясно очерчивая свое видение лучшего мира, Вильсон пробуждал жизненные силы и идеализм, которые, как представляется, оправдывали «зимнюю спячку» Америки в течение столетия. И теперь она могла вступить на международную арену со всем динамизмом и невинностью, неведомыми ее более закаленным партнерам. Европейская дипломатия закалялась и ставилась на место в пламенной печи истории. Политики, которые ее проводили, видели события через призму грез, оказавшихся весьма хрупкими, больших надежд, разбитых вдребезги, и идеалов, утраченных из-за слабости человеческого предвидения. У Америки не было таких ограничений, она смело провозглашала если и не конец истории, то уж точно тот факт, что та не имеет никакого значения, и она шла на преобразования ценностей, до поры считавшихся присущими только для одной Америки, в общепризнанные принципы, применимые для всех. Вильсон, таким образом, оказался способен преодолеть, по крайней мере, на время, определенную напряженность в американском мышлении по поводу Америки, находящейся в безопасности, и Америки, имеющей незапятнанную репутацию. Америка могла лишь приблизить вступление в Первую мировую войну как в сражение в защиту народов всего мира, а не только своего собственного, и в роли борца за всеобщие свободы.

Тот факт, что Германия потопила «Луизитанию» и, прежде всего, возобновление ею неограниченной подводной войны, стал непосредственной причиной объявления войны Америкой. Но Вильсон не оправдывал вступление Америки в войну какими-то конкретными обидами. Национальные интересы не играли никакой роли. Нарушение нейтралитета Бельгии и баланса сил не имели никакого отношения к этому. Война, скорее, имела моральные основы, главная цель которых состояла в установлении нового и более справедливого международного порядка. «Это страшная вещь, – размышлял Вильсон в речи, в которой он просил разрешения на объявление войны, – «повести наш великий миролюбивый народ на войну, самую ужасную и разрушительную из всех войн, когда на чаше весов, кажется, находится сама цивилизация. Но правота гораздо ценнее, чем мир, и мы будем сражаться за то, что мы всегда хранили в наших сердцах – за демократию, за право тех, кто сдался под напором силы, иметь свой голос в собственных правительствах, за права и свободы малых стран, за всеобщее торжество справедливости, достигнутых благодаря согласию свободных народов, нацеленному на то, чтобы принести мир и безопасность всем нациям и освободить, наконец, весь мир»<sup>44</sup>.

В войне во имя таких принципов не может быть никаких компромиссов. Полная победа была единственно достойной целью. Рузвельт, несомненно, высказал бы военные цели Америки в политически и стратегически выверенных терминах. Вильсон же, бравлируя американ-

<sup>43</sup> Вильсон Вудро. Выступление в театре «Принцесса», город Шайенн, штат Вайоминг, 24 сентября 1919 года, в: *Там же*. Т. 63. С. 474.

<sup>44</sup> Вильсон Вудро. Обращение на совместном заседании обеих палат конгресса 2 апреля 1917 года, в: *Там же*. Т. 41. С. 526–527.

ской незаинтересованностью, определял военные цели Америки исключительно моральными категориями. С точки зрения Вильсона, война не явилась следствием столкнувшихся национальных интересов, к достижению которых стремятся без каких-либо ограничений, а стала результатом неспровоцированного наступления Германии на существующий международный порядок. Конкретнее говоря, настоящим виновником была не немецкая нация, а лично германский император. Настаивая на объявлении войны, Вильсон утверждал:

«Мы не в ссоре с немецким народом. У нас нет к нему никаких других чувств, кроме симпатии и дружбы. Не по его вине их правительство действовало, вступая в эту войну. Народ ничего об этом не знал и не одобрял. Это была война, решение по которой принималось, как это было принято в старые несчастливые времена, когда народы никто из их правителей не спрашивал, и войны были спровоцированы и велись в интересах династий»<sup>45</sup>.

Хотя Вильгельм II давно уже рассматривался как непредсказуемый человек на европейской сцене, ни один европейский государственный деятель никогда не призывал к его свержению. Никто не расценивал свержение императора или его династии как ключ к миру в Европе. Но коль скоро был поставлен вопрос о внутреннем устройстве Германии, война уже не могла завершиться каким-то компромиссом баланса конфликтующих интересов, которого Рузвельт добился между Японией и Россией десятью годами ранее. 22 января 1917 года накануне вступления Америки в войну Вильсон объявил своей целью достижение «мира без победы»<sup>46</sup>. Однако то, что Вильсон предложил после вступления Америки в войну, оказалось миром, которого можно было достичь только благодаря полной победе.

Высказывания Вильсона вскоре стали общепризнанной мудростью. Даже такой искусственный человек, как Герберт Гувер, начал описывать немецкий правящий класс от природы порочным, питающимся «источником живой силы других народов»<sup>47</sup>. Настроение того времени точно выразил президент Корнеллского университета Джекоб Шурман<sup>48</sup>, представивший эту войну как битву между «Царством Небесным» и «Царством гуннов», являвшимся олицетворением силы и страха»<sup>49</sup>.

И тем не менее свержение какой-то одной династии не могло бы привести к тому, что подразумевала риторика Вильсона. В своем призыве к объявлению войны Вильсон распространил свою моральную «длань» на весь мир. Не только Германия, но и все другие страны стали безопасными для демократии, поскольку миру потребуется «партнерство демократических государств»<sup>50</sup>. В другой своей речи Вильсон зашел еще дальше, сказав, что сила Америки атрофируется, если Соединенные Штаты не будут распространять свободу по всему земному шару:

«Мы создали эту нацию, чтобы люди были свободными, и мы не сводим нашу концепцию и цели только применительно к Америке. Мы теперь сделаем всех свободными. Если бы мы этого не сделали, вся слава Америки пропадет, а вся ее сила будет напрасно растрочена»<sup>51</sup>.

<sup>45</sup> Там же. С. 523.

<sup>46</sup> Вильсон Вудро. Обращение к сенату США от 22 января 1917 года, в: Там же. Т. 40. С. 536.

<sup>47</sup> Selig Adler. *The Isolationist Impulse: Its Twentieth-Century Reaction* (London/New York: Abelard Schuman, 1957), (Адлер Селиг. *Изоляционистский импульс: реакция на него в XX веке*). р. 36.

<sup>48</sup> Джекоб Шурман (1854–1942), американский ученый и дипломат, президентом Корнеллского университета был с 1892 по 1920 год, на дипломатической работе возглавлял посольства США в Греции (1912–1913), в Китае (1921–1925) и в Германии (1925–1929). – Прим. перев.

<sup>49</sup> Там же.

<sup>50</sup> Вильсон Вудро. Обращение 2 апреля 1917 года, в: Link, ed. *The Papers of Woodrow Wilson* (Документы Вудро Вильсона) vol. 41, p. 519ff.

<sup>51</sup> Вильсон Вудро. Бостонское обращение 24 февраля 1919 года, в: Там же. Т. 55. С. 242–243.

Вильсон подошел ближе всего к изложению в деталях своих военных целей в «Четырнадцать пунктах», речь о которых пойдет в 9-й главе. Историческое достижение Вильсона заключается в его признании того, что американцы не могут пойти на участие в крупных международных конфликтах, не получивших оправдания в соответствии с их моральными убеждениями. А его провалом стало отношение к трагическим моментам истории как к неким отклонениям от нормального хода, своего рода абберациям, или ошибкам, вызванным недальновидностью и злым умыслом отдельных руководителей. Он также отрицал любые объективные основы мира, за исключением силы общественного мнения и мирового распространения демократических институтов. При всем при этом он подчас просил страны Европы предпринять что-либо, для чего они не были готовы ни с философской точки зрения, ни с исторической. И делал это он сразу после войны, которая выжала из них последние соки.

На протяжении 300 лет европейские государства основывали миропорядок на балансировании национальных интересов, а свою внешнюю политику – на стремлении к безопасности, рассматривая каждую дополнительную выгоду как своего рода премию. Вильсон просил страны Европы основывать их внешнюю политику на моральных убеждениях, а безопасность при этом рассматривалась бы как нечто несущественное, если на нее вообще обращалось внимание. Но у Европы не было концептуального механизма для такой политики незаинтересованности. Время покажет, сможет ли Америка, недавно проявившая себя после столетия изоляции, выдержать постоянную вовлеченность в международные дела, что подразумевали теории Вильсона.

Выход Вильсона на сцену стал переломным моментом для Америки, одним из тех редких примеров руководителя, который коренным образом меняет курс истории своей страны. Если бы в 1912 году победу одержал Рузвельт или его идеи, вопрос о военных целях основывался бы на расследовании природы национального интереса Америки. Рузвельт поставил бы вступление Америки в зависимость от одного предположения, которое он фактически сам и выдвинул. Речь идет о том, что если бы Америка не присоединилась к Антанте, то Центральные державы Тройственного союза выиграли бы войну и рано или поздно стали бы угрозой для американской безопасности.

Если бы американский национальный интерес был определен со временем таким именно образом, то это заставило бы Америку прибегнуть к глобальной политике, сравнимой с политикой Великобритании по отношению к континентальной Европе. На протяжении трех столетий британские руководители действовали, исходя из предпосылки о том, что если бы европейские ресурсы находились в руках единственной доминирующей державы, то эта страна имела бы тогда ресурсы, которые давали бы ей возможность бросить вызов господству Британии на морях и таким образом угрожать ее независимости. С геополитической точки зрения Соединенные Штаты, также представляющие собой некий остров, находящийся недалеко от Евразии, должны были бы, если использовать ту же аргументацию, противодействовать господству в Европе или в Азии любой одной державы и, даже более того, контролю над *обоими* континентами *той же самой* державой. Если так рассуждать, то не моральные грехи, а масштабы геополитической сферы, на которую претендует Германия, становились главным предлогом для войны, тем самым *казус белли*.

Подобного рода подход, характерный для Старого Света, противоречил, однако, кладезю американских эмоций, к которому прибегал Вильсон, – что характерно и сегодня. Даже Рузвельт не смог проводить силовую политику, которую он отстаивал, хотя и умер, будучи убежденным в том, что ему это удалось. Как бы то ни было, но Рузвельт уже не был президентом, а Вильсон дал ясно понять еще до вступления Америки в войну, что станет противостоять любым попыткам строить послевоенный порядок на основе уже устоявшихся принципов международной политики.

Вильсон видел причины войны не только в безнравственности германского руководства, но также и в самой европейской системе баланса сил. 22 января 1917 года он выступил с нападениями на международный порядок, предшествовавший началу войны, как на «организованное соперничество»:

«Вопрос, от которого зависит весь будущий мир и политика в мире, состоит в следующем: Является ли нынешняя война битвой за справедливый и безопасный мир или всего лишь схваткой за новый баланс сил? ... Должен сложиться не баланс сил, а сообщество сил, не организованное соперничество, а организованный всеобщий мир»<sup>52</sup>.

То, что Вильсон подразумевал под «сообществом сил» было совершенно новой концепцией, впоследствии ставшей известной как концепция «коллективной безопасности» (хотя в Великобритании Уильям Гладстон в течение 1880 года выдвигал мертворожденную ее вариацию)<sup>53</sup>. Будучи убежденным в том, что все страны мира одинаково заинтересованы в мире и в силу этого объединятся, чтобы наказать тех, кто его нарушил, Вильсон предложил отстаивать международный порядок на основе морального консенсуса миролюбивых сил:

«...нынешний век это век... отвергающий стандарты национального эгоизма, который когда-то управлял намерениями стран, и требующий, чтобы они уступили дорогу новому порядку вещей, при котором будут ставиться только вопросы такого рода: «Это правильно?», «Это справедливо?», «Это в интересах человечества?»<sup>54</sup>.

Чтобы узаконить этот консенсус, Вильсон выдвинул идею учреждения Лиги Наций, институт сугубо американского типа. Под эгидой этой всемирной организации сила должна уступить морали, а сила оружия – повелению общественного мнения. Вильсон всегда подчеркивал, что, будь общественность достаточно информирована, война никогда не случилась бы, – игнорируя бурные манифестации радостного ликования и облегчения, которыми приветствовалось во *всех* столицах начало войны, включая и столицы демократических Великобритании и Франции. Если бы, как полагал Вильсон, эта новая теория должна была бы заработать, должны были произойти по меньшей мере два изменения в международном управлении: во-первых, распространение демократических правительств по всему миру и, во-вторых, выработка «новой и более плодотворной дипломатии», основанной на «том же самом высоком кодексе чести, который мы предъявляем индивидуумам»<sup>55</sup>.

В 1918 году Вильсон обозначил в качестве необходимого элемента для достижения мира доселе неслыханную и умопомрачительно честолюбивую цель «уничтожения любой деспотичной державы, действующей произвольно, где бы то ни было в мире. В случае же невозможности ее уничтожения в настоящее время, добиться, по крайней мере, ее обескровливания до полного ее обессиливания»<sup>56</sup>. Выступая на мирной конференции 14 февраля 1919 года, Вильсон сказал, что созданная на такой основе и вдохновленная таким подходом Лига Наций могла бы разрешать кризисы без войн, «...при помощи этого инструмента (Устава Лиги) мы в первую очередь и главным образом ставим себя в зависимость от одной великой силы. И это моральная сила мирового общественного мнения – очищающая и разъясняющая, оказывающая воздействие сила публичности... в силу чего те силы, которые уничтожаются светом, могли бы

---

<sup>52</sup> Вильсон Вудро. Обращение 22 января 1917 года, в: *Там же*. Т. 40. С. 536–537.

<sup>53</sup> [См. шестую главу.](#)

<sup>54</sup> Вильсон Вудро. Высказывания на кладбище в Сюрене (пригород Парижа) в День памяти 30 мая 1919 года, в: *Там же*. Т. 59. С. 608–609.

<sup>55</sup> Вильсон Вудро. Обращение к Лиге содействия сохранению мира 27 мая 1916 года, в: *Там же*. Т. 37. С. 113 и сл.

<sup>56</sup> Вильсон Вудро. Маунт-Вернонское обращение 4 июля 1918 года, в: *Там же*. Т. 48. С. 516.

быть до конца уничтожены всепроникающим светом всеобщего осуждения во всемирном масштабе»<sup>57</sup>.

Миру больше не нужно было бы добиваться своего обеспечения путем традиционного подсчета уровня сил. Все решалось бы общемировым консенсусом, подкрепленным контрольным механизмом. Всеобщее объединение преимущественно демократических стран выступало бы в качестве «гаранта мира» и заменило бы старую систему баланса сил и альянсов.

Такого рода возвышенные чувства никогда ранее не проявлялись открыто ни в одной стране, не говоря уже о претворении их в жизнь. И тем не менее их стали рассматривать через призму американского идеализма как единую систему оценки национального мышления в отношении внешней политики. Все американские президенты после Вильсона стали выдвигать в разных вариациях эту тему в духе Вильсона. Внутренние дебаты все чаще касались неудач с реализацией идеалов Вильсона (они вскоре стали такими обыденными, что их перестали даже ассоциировать с ним самим). Они менее всего касались вопроса о том, обеспечивали ли они на самом деле адекватное руководство по урегулированию порой жестких вызовов нашего беспокойного мира. В течение трех поколений критики яростно нападали на сделанный Вильсоном анализ и его выводы; и все равно, все это время вильсоновские принципы оставались прочной основой американского внешнеполитического мышления.

И тем не менее переплетение Вильсоном власти и принципа тоже создало благоприятную среду для десятилетий существования двусмысленностей, пока американское сознание пыталось примирить свои принципы со своими потребностями. Основной предпосылкой коллективной безопасности было то, что все страны стали бы рассматривать безопасность единообразно и были бы готовы идти на одинаковые риски в деле противостояния этой угрозе. Но подобного никогда фактически не происходило, ничему подобному и не суждено было произойти за всю историю и Лиги Наций, и Организации Объединенных Наций. Такой консенсус возможен только тогда, когда угроза носит поистине непреодолимый характер и действительно оказывает воздействие на все или на большинство обществ, – как это имело место во время двух мировых войн и, на региональной основе, во время холодной войны. Но в подавляющем большинстве случаев – и почти во всех трудных случаях – страны мира имели тенденцию не соглашаться либо по характеру угрозы, либо по виду жертвы, на которую они были бы готовы пойти, чтобы ей противостоять. Так было и в случае агрессии Италии против Абиссинии в 1935 году, и во время боснийского кризиса в 1992 году. А когда речь шла о достижении прямых целей или исправлении воспринимаемых несправедливостей, как оказывалось, всеобщего консенсуса было гораздо труднее достичь. Как ни странно, в мире после холодной войны, в котором нет непреодолимой идеологической и военной угрозы и в котором гораздо больше лицемерят по поводу демократии, чем в любую предшествовавшую эпоху, такого рода трудности только нарастают.

Вильсоновство также акцентировало внимание на еще одном скрытом расхождении в американском философствовании на темы международных отношений. Были ли у Америки такие интересы в деле безопасности, которые ей нужно было отстаивать, независимо от того, в какой форме этим интересам бросался вызов? Или Америке следовало бы выступать только против таких перемен, которые со всей беспристрастностью могут быть охарактеризованы как противоправные? Что непосредственно касается Америки: сам факт или метод преобразований международного характера? Отвергла ли Америка принципы геополитики в общем и целом? Или им следует дать новое толкование, посмотрев на них через призму американских

---

<sup>57</sup> Вильсон Вудро. Обращение на Третьем пленарном заседании Мирной конференции 14 февраля 1919 года, в: *Там же*. Т. 55. С. 175.

ценностей? А если эти подходы вступят в противоречие друг с другом, то какой из них должен возобладать?

Суть вильсонизма состояла в том, что Америка более всего выступает против способов осуществления перемен и что у нее нет стратегических интересов, заслуживающих защиты, если угрожать им будут явно законными методами. Во время войны в Персидском заливе президент Буш настаивал на том, что он не столько защищает жизненно важные нефтяные коммуникации, сколько выступает против принципа допустимости агрессии как таковой. А во время холодной войны разгоравшиеся время от времени в Америке дебаты касались вопроса о том, имеет ли Америка с ее собственными недостатками моральное право организовывать сопротивление угрозе со стороны Москвы.

Теодор Рузвельт, ничуть не колеблясь, ответил бы на все эти вопросы. Предположить, что страны станут воспринимать угрозы совершенно идентично или будут готовы реагировать на них единообразно, означало бы отрицать все то, что он всегда отстаивал. И он не мог бы даже представить себе такую всемирную организацию, в которую входили бы и жертва, и агрессор одновременно и без всяких проблем. В ноябре 1918 года он писал в одном письме:

«Я за такую Лигу, но при условии, что мы не станем требовать от нее слишком многого. ... Я не собираюсь участвовать в спектакле, который еще даже Эзоп высмеял, когда он написал о том, как волки и овцы согласились разоружиться и как, демонстрируя гарантию своей доброй воли, овцы отослали сторожевых собак, и затем были съедены волками»<sup>58</sup>.

В следующем месяце он написал сенатору от штата Пенсильвания Ноксу следующее:

«Лига Наций принесет мало пользы, но чем помпезнее она выглядит и чем больше она претендует что-либо сделать, тем меньше она сможет на самом деле осуществить. Разговор о ней навеивает мрачное предположение о разговоре вековой давности о Священном союзе, который ставил в качестве своей главной цели обеспечение вечного мира. Царь Александр, кстати, возглавивший это движение столетие тому назад, и был президентом Вильсоном»<sup>59</sup>.

По оценкам Рузвельта, только мистики, мечтатели и работники умственного труда придерживались мнения о том, что мир является естественным состоянием человека и что его можно поддерживать при помощи бескорыстного консенсуса. Мир, в его понимании, изначально хрупок и мог бы быть сохранен только благодаря постоянной бдительности, руками сильных и при помощи союзов единомышленников.

Но Рузвельт либо запоздал родиться на целое столетие, либо родился на столетие раньше. Его подход к международным делам умер вместе с ним в 1919 году. С тех пор ни одна из влиятельных школ американской внешнеполитической мысли не занялась возрождением его идей. С другой стороны, несомненным мерилом интеллектуального триумфа Вильсона стал тот факт, что даже Ричард Никсон, внешняя политика которого на самом деле основывалась на многих заветах Рузвельта, считал себя, прежде всего, последователем вильсоновского интернационализма и повесил портрет президента, вовлекшего страну в войну, в своем рабочем кабинете.

Лига Наций не смогла завладеть умами Америки, потому что страна еще не была готова играть столь глобальную роль. Тем не менее интеллектуальная победа Вильсона оказалась более плодотворной, чем мог быть любой политический триумф. Поскольку, когда бы Америка ни сталкивалась с задачей создания нового мирового порядка, она, так или иначе, возвраща-

---

<sup>58</sup> Письмо Рузвельта Джеймсу Брайсу от 19 ноября 1918 года, в: *Письма Теодора Рузвельта*. Т. VIII. С. 1400.

<sup>59</sup> Рузвельт – сенатору Филандеру Чейзу Ноксу (республиканцу от штата Пенсильвания), 6 декабря 1918 года, в: *Там же*. С. 1413–1414.

лась к заветам Вудро Вильсона. В конце Второй мировой войны она помогла создать Организацию Объединенных Наций на тех же принципах, что и Лигу Наций, в надежде на то, что мир будет опираться на согласие между победителями. Когда эта надежда умерла, Америка развязала холодную войну, рассматривая ее не как конфликт между двумя сверхдержавами, а как моральное сражение за демократию. Когда произошел крах коммунизма, идея Вильсона о том, что путь к миру пролегает через коллективную безопасность вкупе с распространением по всему миру демократических институтов, была в равной степени принята администрациями, представляемыми каждой из двух главных американских политических партий.

Вильсоновство воплотило в себе главную драму Америки на мировой арене: американская идеология в некотором смысле была революционной, в то время как сами американцы у себя дома считали себя вполне удовлетворенными существующим статус-кво людьми. Американцы, склонные к превращению внешнеполитических вопросов в борьбу между добром и злом, как правило, чувствуют себя не по себе, когда приходится сталкиваться с компромиссами, точно так же, как они себя ощущают при частичных и неубедительных результатах. Тот факт, что Америка избегает поиска ширококомасштабных геополитических трансформаций, часто ассоциирует ее с защитой территориального, а иногда и политического статус-кво. Веря в правопорядок, она с трудом способна примирить веру в мирные перемены и тот исторический факт, что почти все значительные перемены в истории были связаны с насилием и переворотами.

Америка убедилась, что ей предстоит воплотить в жизнь свои идеалы в мире, менее благословенном, чем ее собственный, и во взаимодействии с государствами, обладающими более низким порогом выживания, более ограниченными целями и гораздо меньшей уверенностью в своих силах. И все же Америка выстояла. Послевоенный мир в значительной степени является ее творением, так что в итоге Америка действительно стала играть ту самую роль, которую пророчески предвидел для нее Вильсон, – роль путеводной звезды и достижимой надежды.

## Глава 3

### От универсальности к равновесию. Ришелье, Вильгельм Оранский и Питт

Характеризуемая нынешними историками как система европейского баланса сил система эта появилась в XVII веке на обломках окончательно рухнувших средневековых стремлений к универсальности – концепции мирового порядка, представляющей смешение традиций Римской империи и католической церкви. Мир осмысливался как зеркальное отражение небес. Точно так, как Господь один управляется на небесах, точно так же один император должен был бы править светским миром и один папа стоять над Вселенской церковью.

Исходя из этого, феодальные государства Германии и Северной Италии были объединены под властью императора Священной Римской империи. В XVII веке эта империя имела все возможности, чтобы властвовать над Европой. Франция, чьи границы лежали далеко к западу от Рейна, и Англия были странами, находившимися на периферии по отношению к ней. Если бы император Священной Римской империи сумел установить централизованный контроль над всеми территориями, формально находящимися под его юрисдикцией, отношения западноевропейских государств к империи напоминали бы отношения соседей Китая к Среднему государству, при этом Франция напоминала бы Вьетнам или Корею, а Великобританию можно было бы сравнивать с Японией.

На протяжении почти всего Средневековья император Священной Римской империи, однако, никогда не достигал такой степени централизованного контроля. Одной из причин являлось отсутствие соответствующих систем транспорта и связи, что затрудняло объединение в единое целое столь обширных территорий. Но наиболее важной причиной было то, что в Священной Римской империи контроль над церковью был отделен от контроля над правительством. В отличие от любого фараона или римского императора, император Священной Римской империи никакими божественными атрибутами не обладал. Повсюду за пределами Западной Европы, даже в регионах, находившихся под властью восточной православной церкви, религия и управление государством были объединены в том смысле, что назначения на ключевые посты и тут, и там были предметом решения центрального правительства. Религиозные власти не обладали ни средствами, ни властью, чтобы утверждать автономию своего положения, которого западное христианство требовало себе как законное право.

В Западной Европе потенциальный, а временами и реальный конфликт между папой и императором обусловил возможный конституционализм и разделение властей, что является основой современной демократии. Это давало возможность различным феодальным правителям укреплять свою автономию, требуя некую долю от обеих соперничающих фракций. А это, в свою очередь, вело к раздробленной Европе – лоскутному одеялу, состоящему из герцогств, графств, городов и епископств. Хотя в теории все феодальные властители присягали на верность императору, на практике они творили все, что им заблагорассудится. На императорскую корону претендовали различные династии, и центральная власть почти исчезла. Императоры придерживались старого взгляда на универсальность правления, не имея возможности реализовать его на практике. На границах Европы Франция, Англия и Испания не признавали власть Священной Римской империи, хотя и оставались частью Вселенской церкви.

И только в XV веке, когда династия Габсбургов стала почти постоянно заявлять претензии на императорскую корону и через браки по расчету обрела испанский престол и огромные ресурсы этой страны, для императора Священной Римской империи стало возможным надеяться превратить свои претензии на универсальность в политическую систему. В первой половине XVI века император Карл V возродил императорскую власть до такой степени, что

возросли перспективы появления некоей центральноевропейской империи, состоящей из того, что сегодня является Германией, Австрией, Северной Италией, Чешской Республикой, Словакией, Венгрией, Восточной Францией, Бельгией и Нидерландами. Такая потенциально могущественная группировка исключала возможность появления чего-то, что напоминало бы европейский баланс сил.

Но в тот самый момент ослабление папской власти под натиском Реформации расстроило планы на появление гегемонистской европейской империи. Будучи сильным, папство было занозой у императора Священной Римской империи и грозным соперником. А в условиях заката мощи в XVI веке папский престол оказался столь же губительным для самой идеи существования империи. Императоры хотели видеть себя «посланцами Божьими», как и хотели, чтобы так о них думали и другие. Но в XVI веке император в протестантских землях, как представляется, меньше всего воспринимался как «посланец Божий», а скорее как венский завоеватель, имеющий связи с отживающим свой век папством. Реформация придала бунтующим князьям новую свободу действий как в религиозной, так и в политической сфере. Их разрыв с Римом был разрывом с религиозным универсализмом; их борьба с императором из династии Габсбургов свидетельствовала о том, что князья больше не воспринимали верность клятве императору своим религиозным долгом.

С крахом концепции единства нарождающиеся государства Европы стали нуждаться в каком-либо принципе, который оправдывал бы их ересь и регулировал бы взаимоотношения между ними. Они нашли его в концепциях национального интереса государства, *raison d'état*, и баланса сил. Одно зависело от другого. Принцип *raison d'état* предполагал, что благополучие государства оправдывает применение любых средств для обеспечения национальных интересов. А национальный интерес подменял средневековое представление об универсальности морали. На смену тоски по универсальной монархии пришел принцип баланса сил, принесший утешение по поводу того, что каждое отдельное государство, преследующее собственные эгоистические интересы, так или иначе внесет свой вклад в дело безопасности и прогресса всех остальных.

Самая ранняя и наиболее подробная формулировка по этому новому подходу была сделана во Франции, одном из первых национальных государств Европы. Франция была страной, которая теряла бы больше всех в случае нового возрождения Священной Римской империи, поскольку могла вполне быть – используя современную терминологию – ею «финляндизирована». По мере ослабления религиозных ограничений Франция стала играть на соперничестве, возникавшем среди ее соседей вследствие Реформации. Французские правители признавали, что продолжающееся ослабление Священной Римской империи (и даже вплоть до ее распада) усилило бы безопасность Франции и, при счастливом стечении обстоятельств, позволило бы ей совершить экспансию на восток.

Главным проводником такого рода французской политики была совершенно невероятная фигура, то был князь Церкви Арман Жан дю Плесси, кардинал Ришелье, первый министр Франции с 1624 по 1642 год. Узнав о смерти кардинала Ришелье, папа Урбан VIII будто бы сказал: «Если Бог есть, кардиналу Ришелье придется за многое ответить. Если нет... ну, что ж, он прожил удачную жизнь»<sup>60</sup>. Эта двусмысленная эпитафия, несомненно, пришлась бы по вкусу государственному деятелю, который достиг огромных успехов, игнорируя набожность, имевшую огромную важность в тот век, и фактически переступая через нее.

Немногие государственные деятели могут претендовать на большую степень воздействия на ход истории. Ришелье был отцом современной государственной системы. Он провозгласил принцип *raison d'état* и безудачно воплощал на практике концепцию отстаивания национальных интересов на благо своей страны. Под его руководством принцип *raison d'état* пришел на

---

<sup>60</sup> Louis Auchincloss. *Richelieu* (Ошенкросс Луи. *Ришелье*). (New York: Viking Press, 1972), p. 256.

смену средневековой концепции универсальности моральных ценностей и стал главным руководящим принципом французской политики. Изначально он преследовал цель не допустить господства Габсбургов над Европой, но в конечном счете оставил такое политическое наследие, которое в течение двух последующих столетий вызывало у его преемников искушение установить французское главенство в Европе. Вследствие провала подобных честолюбивых замыслов возник баланс сил, вначале как жизненная реальность, а затем как система организации международных отношений.

Ришелье занял свой пост в 1624 году, когда император Священной Римской империи Фердинанд II Габсбург попытался возродить универсализм католичества, искоренить протестантизм и установить имперский контроль над князьями Центральной Европы. Этот процесс, Контрреформация, привел к тому, что позже стали называть Тридцатилетней войной, разразившейся в Центральной Европе в 1618 году и ставшей одной из наиболее жестоких и разрушительных войн за всю историю человечества.

К 1618 году немецкоговорящая территория Центральной Европы, значительная часть которой входила в Священную Римскую империю, была разделена на два вооруженных лагеря: протестантов и католиков. Вызвавший войну детонатор в том же году сработал в Праге, и вскоре в конфликт была втянута вся Германия. По мере того как Германия постепенно истекла кровью, ее княжества стали легкой добычей иноземных захватчиков. В скором времени датские и шведские армии пересекли Центральную Европу, и, в конце концов, в войну ввязалась французская армия. К моменту окончания войны в 1648 году Центральная Европа была опустошена, при этом Германия потеряла почти треть своего населения. В горниле этого трагического конфликта кардинал Ришелье привил свой принцип *raison d'état* к древу французской внешней политики, принцип, который другие европейские государства приняли лишь в следующем столетии.

Будучи князем Церквы, Ришелье должен был бы приветствовать стремление Фердинанда восстановить католическую ортодоксию. Но Ришелье поставил французский национальный интерес выше каких-либо религиозных целей. Сан кардинала не помешал Ришелье увидеть в попытке Габсбурга восстановить мощь католической религии геополитическую угрозу безопасности Франции. Для него это были не религиозные действия, а политический маневр Австрии, предпринятый с целью достижения господства в Центральной Европе и, следовательно, низведения Франции до уровня второразрядной державы.

Опасения Ришелье были небезосновательны. Один взгляд на карту Европы, и становится ясно, что Франция со всех сторон окружена землями Габсбургов: Испания – на юге, в основном подчиненные Испании североитальянские города-государства – на юго-востоке, также находившееся под испанским контролем «свободное графство» Франш-Конте (сегодня это провинция, расположенная над Лионом и Савоем) – на востоке и испанские Нидерланды – на севере. А немногие приграничные территории, не находившиеся под властью испанских Габсбургов, принадлежали австрийской ветви этой же династии. Герцогство Лотарингское было связано клятвой на верность австрийскому императору Священной Римской империи так же, как и стратегически важные районы вдоль берегов Рейна на территории сегодняшнего Эльзаса. Если бы Северная Германия также подпала под власть Габсбургов, Франция оказалась бы губительно слабой по отношению к Священной Римской империи.

Вовсе не утешением для Ришелье было то, что Испания и Австрия являлись, как и Франция, католическими странами. Как раз наоборот, именно победу Контрреформации Ришелье был полон решимости предотвратить. Для обеспечения того, что мы сегодня назвали бы интересом национальной безопасности, а тогда – впервые в истории – это было обозначено как государственные интересы, т. е. *raison d'état*, Ришелье был готов выступить на стороне протестантских князей и воспользоваться в своих целях расколом Вселенской церкви.

Если бы императоры из династии Габсбургов играли по тем же правилам или понимали смысл нарождавшегося принципа *raison d'état*, они бы увидели, как им повезло в плане приближения к тому, чего Ришелье опасался больше всего, – превосходства Австрии и появления Священной Римской империи в качестве господствующей на континенте державы. Однако на протяжении ряда столетий враги Габсбургов выигрывали от негибкости династии в деле приспособления к требованиям тактической необходимости или понимания будущих тенденций. Правители из Габсбургов были людьми принципиальными. Они никогда не шли на компромисс вопреки собственным убеждениям, разве что в случае поражения. Вследствие этого, с самого начала этой политической одиссеи они были абсолютно беззащитны против безжалостных махинаций кардинала.

Император Фердинанд II, антагонист Ришелье, почти наверняка никогда и не слышал о принципе *raison d'état*. И даже если бы он и услышал, то отверг бы его, как богохульство, поскольку он представлял себе миссию мирского владыки как исполнение воли Божией и всегда в титуле императора Священной Римской империи подчеркивал слово «священный». Он никогда бы не согласился с тем, что столь богоугодные цели могут быть достигнуты не слишком чистыми моральными средствами. И, уж конечно, он даже не помыслил бы заключать договоры с протестантами-шведами или мусульманами-турками, то есть предпринять меры, которые кардинал считал само собой разумеющимися. Советник Фердинанда иезуит Ламормаини так обобщил мировоззрение императора:

«Фальшивую и продажную политику, столь распространенную в нынешние времена, он, по своей мудрости, осудил с самого начала. Он полагал, что с теми, кто следует такой политике, не следует иметь дело, поскольку они проповедуют ложь и злоупотребляют именем Божиим и религией. Было бы величайшим безумием пытаться укрепить государство, дарованное нам самим Господом, средствами, Господу противными»<sup>61</sup>.

Любой правитель, будучи приверженцем столь абсолютных ценностей, посчитает невозможным идти на компромисс, не говоря уже о том, чтобы манипулировать своими переговорными позициями. В 1596 году Фердинанд, будучи еще эрцгерцогом, заявил: «Я скорее предпочел бы умереть, чем дать какие бы то ни было уступки сектантам в вопросах веры»<sup>62</sup>. В ущерб своей собственной империи он действительно оставался верен собственным словам. Исходя из того, что благополучие империи его интересовало меньше, чем повиновение воле Божией, он считал своим долгом сокрушить протестантизм, даже если определенная религиозная терпимость была бы в его собственных интересах. Если определить это в современных терминах, то он был фанатиком. Слова Каспара Скопиуса, одного из советников императора, так освещают его убеждения: «Будь проклят тот властитель, который не прислушивается к голосу Господа, велящего убивать еретиков. Войну следует начинать не ради себя самого, но во имя Господа (*Bellum non tuum, sed Dei esse statuas*)»<sup>63</sup>. Как представлял себе Фердинанд, государство существовало для того, чтобы служить религии, а не наоборот: «В государственных делах, которые столь важны для нашего священного вероисповедания, нельзя все время принимать во внимание человеческие соображения; скорее, следует уповать... на Господа... и верить только в Него»<sup>64</sup>.

Ришелье воспринимал религиозность Фердинанда как стратегический вызов. Религиозный в частной жизни, он воспринимал свои обязанности министра с сугубо мирской точки

<sup>61</sup> В: Quellenbuch zur Osterreichische Geschichte (Австрийские исторические первоисточники), vol. II, edited by Otto Frass. (Vienna: Birken Verlag, 1959), p. 100.

<sup>62</sup> Там же.

<sup>63</sup> Там же.

<sup>64</sup> Там же.

зрения. Спасение души могло быть его личным устремлением, но для Ришелье как государственного деятеля оно не играло никакой роли. «Человек бессмертен, спасение души ждет его впереди, – сказал он однажды. – Государство же бессмертием не обладает, оно может спастись либо теперь, либо никогда»<sup>65</sup>. Иными словами, государства не получают воздаяния за праведность ни на том, ни на этом свете; они получают воздаяние лишь за то, что достаточно сильны, чтобы совершать все необходимое.

Ришелье никогда не позволил бы себе упустить возможность, представившуюся Фердинанду в 1629 году, на одиннадцатом году войны. Тогда протестантские князья были готовы признать политическое главенство Габсбургов при условии, что они сохраняют право выбора исповедуемой религии и сохраняют за собой церковные земли, отчужденные ими во времена Реформации. Но Фердинанд не пожелал подчинить свои религиозные убеждения требованиям политической целесообразности. Отвергая то, что стало бы всеохватным триумфом и гарантией существования империи, будучи преисполненным решимости искоренить протестантскую ересь, он издал «Реституционный эдикт», требовавший от протестантских правителей вернуть церкви все секуляризированные у нее с 1555 года земли. Это был триумф религиозного рвения над целесообразностью, классический случай, когда вера перевесила расчеты политической заинтересованности. И это привело к тому, что война шла до конца.

Столкнувшись с такой ситуацией, Ришелье был полон решимости продлить войну до тех пор, пока Центральная Европа не окажется полностью обескровленной. В своей внутренней политике он также отставил в сторону мелочные религиозные соображения. На основании Эдикта милости, или Великодушного примирения в Але в 1629 году, он даровал французским протестантам-гугенотам свободу вероисповедания, ту самую свободу, против которой сражался император, отказывая дать ее германским князьям. Защитив свою страну от внутренних потрясений, раздиравших Центральную Европу, Ришелье принялся использовать религиозное рвение Фердинанда на пользу французским национальным целям.

Неспособность императора из Габсбургов понять свои же собственные национальные интересы – а, по существу, его отказ признать обоснованность самой этой концепции – дала первому министру Франции возможность поддержать и субсидировать воюющих против императора Священной Римской империи германских протестантских князей. Роль защитника свобод германских протестантских князей, борющихся против планов создания централизованного государства императора Священной Римской империи, была, казалось, маловероятна для французского прелата и его французского короля-католика Людовика XIII. Тот факт, что князь Церкви субсидирует шведского короля-протестанта Густава II Адольфа, чтобы он вел войну против императора Священной Римской империи, имел столь же глубокие революционные последствия, как и потрясения Великой французской революции, свершившиеся через 150 лет после этого.

В эпоху продолжающегося господства религиозного рвения и идеологического фанатизма бесстрастная и свободная от моральных императивов внешняя политика выделялась как покрытые снежными шапками Альпы в пустыне. Целью Ришелье было покончить с тем, что он рассматривал как окружение Франции, истощить Габсбургов и предотвратить появление крупной державы на границах Франции – особенно на ее немецких границах. Единственным критерием при заключении альянсов было их соответствие французским интересам, и именно этого он добивался в отношениях первоначально с протестантскими государствами, а затем даже с мусульманской Оттоманской империей. Для того чтобы истощить воюющие стороны и продлить войну, Ришелье субсидировал врагов своих врагов, применял подкуп, разжигал

---

<sup>65</sup> Joseph Strayer, Hans Gatzke, and E. Harris Harbison. *The Mainstream of Civilization Since 1500* (Стрэйер Джозеф, Гатке Ганс и Харбисон Э. Харрис. *Основное направление развития цивилизации начиная с 1500 года*). (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971), p. 420.

мятежи и пользовался в огромных количествах династическими и юридическими аргументами. Он преуспел настолько, что начавшаяся в 1618 году война тянулась одно десятилетие за другим, пока, наконец, история не наградила ее более подходящим именем из-за ее продолжительности – Тридцатилетняя война.

Франция оставалась в стороне, наблюдая за разорением Германии, вплоть до 1635 года, когда, казалось бы, полнейшее истощение в который раз могло бы положить конец боевым действиям и привести к компромиссному миру. Ришелье, однако, не был заинтересован в компромиссе до той поры, пока французский король не станет таким же мощным, как габсбургский император, а желательно даже еще сильнее его. Для достижения этой цели Ришелье на семнадцатом году войны убедил своего суверена в том, что необходимо вступить в сражение на стороне протестантских князей, не придумав лучшего оправдания этого шага, чем возможность воспользоваться растущим могуществом Франции:

«Если знаком особого благоразумия являлось сдерживание сил, противостоящих Вашему государству на протяжении десяти лет при помощи армий Ваших союзников, чтобы Вы при этом могли держать свою руку в кармане, а не на эфесе меча, то теперь, когда Ваши союзники более не могут существовать без Вас, вступление в открытую схватку представляется знаком смелости и величайшей мудрости. Он показывает, что в деле сбережения мира в Вашем королевстве Вы вели себя как те экономисты, которые, поначалу серьезнейшим образом озаботившись накоплением денег, также знали, как лучше потратить их...»<sup>66</sup>

Успех политики приоритета государственных соображений, *raison d'état*, зависит, прежде всего, от умения правильно оценить соотношение сил. Универсальные ценности определяются в процессе их восприятия и не нуждаются в постоянном переосмыслении; на деле они даже несовместимы с этим. Но определение пределов могущества требует сочетания опыта и провидения, а также умения постоянно приспосабливаться к обстоятельствам. Конечно, в теории баланс сил вполне поддается расчету. На практике же оказывается, чрезвычайно трудно высчитать его на реалистичной основе. А еще сложнее привести в гармонию собственные расчеты с расчетами других государств, что является обязательной предпосылкой действенной системы баланса сил. Консенсус по поводу характера равновесия обычно достигается путем периодических конфликтов.

Ришелье не сомневался в своей способности должным образом ответить на вызов, будучи лично убежденным в том, что можно с почти математической точностью соразмерить цели и средства. «Логика, – пишет он в своем „Политическом завещании“, – требует, чтобы вещь, нуждающаяся в поддержке, и сила этой поддержки находились в геометрической пропорции друг к другу»<sup>67</sup>. Судьба сделала его князем Церкви. Убеждения ввели его в круг интеллектуального сообщества рационалистов типа Декарта и Спинозы, полагавших, что человеческое действие может быть научным путем спланировано. Случай дал ему возможность трансформировать международный порядок на великое благо собственной страны. На этот раз оценка государственным деятелем себя самого оказалась точной. Ришелье имел прозорливое понимание собственных целей, но ни он, ни его идеи не могли бы восторжествовать, если бы он не был способен сопрягать свою тактику с собственной стратегией.

Столь новаторская и хладнокровная доктрина не могла не вызвать противодействия. Какое бы господствующее положение ни заняла концепция баланса сил в последующие годы, она была глубоко оскорбительна для универсалистской традиции, основанной на первичности

---

<sup>66</sup> Цитируется по: Carl J. Burchardt. *Richelieu and His Age* (Буркхардт Карл Дж. *Ришелье и его эпоха*), перевод с немецкого Бернарда Хоя (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970), vol. III, "Power Politics and the Cardinal's Death", p. 61.

<sup>67</sup> Там же. С. 122.

законов морали. Одно из наиболее красноречивых критических высказываний пришло от знаменитого ученого Янсения, нападавшего на политику, лишенную каких бы то ни было моральных тормозов:

«Разве они действительно верят, что светское, недолговечное государство способно оказаться выше религии и церкви? ...Разве не должен наихристианнейший король думать, что при руководстве и управлении своими владениями нет ничего, что обязывало бы его распространять и защищать веру в Господа своего Иисуса Христа? ...Неужели он осмелится заявить Господу: да пропадет и сгинет Твоя власть, и слава, и вера, что учит людей почитать Тебя, если благодаря этому государство мое будет защищено и не подвержено никаким рискам?»<sup>68</sup>

Именно так, разумеется, Ришелье говорил своим современникам и, насколько нам известно, своему Богу. И становится ясен масштаб произведенной им революции того, что его критики считали неким *reductio ad absurdum*<sup>69</sup> (то есть аргументом столь аморальным и опасным, что он опровергает сам себя), а на самом деле являлось в высшей степени точным обобщением взглядов самого Ришелье. Будучи первым министром короля, он подчинил как религию, так и мораль высшим интересам государства, своей путеводной звезде *raison d'état*.

Демонстрируя, как хорошо они усвоили циничные методы своего господина, защитники Ришелье использовали аргументацию своих критиков против самих этих критиков. Политика отстаивания национального интереса, как утверждали они, представляет собой высший нравственный закон; и тогда не Ришелье, а его критики нарушали этические принципы.

Именно Даниэлю де Приезаку, ученому, близкому к королевским властям, почти наверняка с личного одобрения Ришелье, выпало выступить с официальными возражениями. В классически макиавеллистской манере Приезак высказал возражение по поводу утверждения о том, что Ришелье совершает смертный грех, проводя политику, которая, похоже, способствует распространению ереси. Скорее, как заявлял он, души самих критиков Ришелье на грани риска и требуют спасения. Поскольку Франция была самой чистой и преданной делу веры европейской католической державой, Ришелье, служа интересам Франции, тем самым служил интересам католической религии.

Приезак не пояснял, как именно он пришел к выводу о том, что на Францию была возложена свыше столь уникальная религиозная миссия. Однако это вытекало из его утверждения о том, что укрепление французского государства способствует благополучию католической церкви; а, значит, политика Ришелье высокоморальна. Действительно, пребывание в габсбургском кольце представляло собой столь серьезную угрозу безопасности Франции, что оно должно было быть разорвано, безоговорочно оправдывая тем самым французского короля, независимо от методов, которые он использовал для достижения этой в конечном счете высокоморальной цели.

«Он ищет мира посредством войны, и если в ее ходе что-то происходит вопреки его желаниям, то это вовсе не деяние преступной воли, но необходимость, законы которой наиболее суровы и власть которой наиболее жестока. ...Любая война является справедливой, если заставившее начать ее намерение справедливо. ...Потому главным элементом, который следует принимать во внимание, является воля, а не средства достижения. ...Тот, кто намеревается убить виновного, иногда вынужденно проливает кровь невинного»<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> Jansenius. *Mars Gallicus* (Янсений. *Марс Галльский*), в: William F. Church. *Richelieu and Reason of State* (Черч Уильям Ф. *Ришелье и принцип высших интересов государства*). (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1972), p. 388.

<sup>69</sup> *Reductio ad absurdum* – доведение до абсурда как способ доказательства, применяемый в адвокатской практике. – *Прим. перев.*

<sup>70</sup> Daniel de Priezak. *Defence des Droits et Prerogatives des Roys de France* (Приезак Даниэль де. *Защита прав и привилегий*

И если уж говорить напрямик правду, это значит: цель оправдывает средства.

Еще один из критиков Ришелье, Матье де Морг, обвинял кардинала в манипулировании религией, «как научил тебя твой наставник Макиавелли на примере древних римлян, крутя-вертя ее... толкая ее и подгоняя ее сообразно твоим планам»<sup>71</sup>.

Критика со стороны де Морга была такой же многозначительной, что и критика Янсения, и столь же неэффективной. Ришелье действительно был именно таким манипулятором и использовал религию точно так, как утверждалось критиками. Он, без сомнения, ответил бы, что просто изучает природу мира, как это делал Макиавелли. Подобно Макиавелли, Ришелье, возможно, предпочел бы мир с более утонченными нравственными устоями, но он убежден, что история рассудит его умение управлять государством в зависимости от того, как хорошо он сумел воспользоваться условиями и факторами, с которыми ему приходилось иметь дело. Действительно, если при оценке государственного деятеля в качестве мерила брать достижение целей, которые он ставит сам для себя, то Ришелье останется в памяти, как одна из фигур, внесших большой вклад в мировую историю. Поскольку он оставил после себя мир, коренным образом отличающийся от того, в который пришел сам, и привел в действие политику, которой Франция станет следовать в течение последующих трех столетий.

Таким образом, Франция стала доминирующей страной в Европе и значительно расширила свою территорию. В течение столетия, последовавшего за Вестфальским миром 1648 года, завершившим Тридцатилетнюю войну, доктрина приоритета интересов государства превратилась в руководящий принцип европейской дипломатии. Кардинала, который начисто был лишен иллюзий даже в отношении самого себя, не удивило бы ни то уважение, с которым государственные деятели последующих веков относятся к Ришелье, ни то забвение, какое стало уделом его оппонента Фердинанда II. «В государственных делах, – написал Ришелье в своем «Политическом завещании», – тот, кто силен, часто прав, а тот, кто слаб, может лишь с трудом избежать признания неправым с точки зрения большинства в мире» – этот принцип редко кем оспаривается, на протяжении прошедших с тех пор столетий<sup>72</sup>.

Воздействие Ришелье на ход истории в Центральной Европе было обратно пропорционально достижениям, которых он добился в интересах Франции. Он опасался объединенной Центральной Европы и не допустил, чтобы такое случилось с ней. По всей видимости, он задержал объединение Германии в единое государство почти на два столетия. Начальная стадия Тридцатилетней войны могла бы рассматриваться как попытка Габсбургов действовать в роли династических объединителей Германии – точно так же, как Англия превратилась в национальное государство, оказавшись под опекой нормандской династии, а через несколько столетий при Капетингах за ней последовали французы. Ришелье помешал Габсбургам, и Священная Римская империя была разделена между более чем 300 суверенами, причем каждый из них был волен проводить независимую внешнюю политику. Германия тогда не сумела стать национальным государством; поглощенная в мелочные династические споры, она занялась внутренними проблемами. В результате Германия не выработала собственной национальной политической культуры и закоснела в своем провинциализме, из которого она так и не высвободилась вплоть до конца XIX века, когда ее объединил Бисмарк. Германия становилась ареной сражений большинства европейских войн, многие из которых были инициированы Францией, и потому не попала в первую волну европейской колонизации заморских территорий. Когда Германия, в конце концов, все же объединилась, у нее был до такой степени малый опыт опреде-

---

королей Франции), в: Там же. С. 398.

<sup>71</sup> Mathieu de Morgues. *Catholicon francois, treatise of 1636* (Морг Матье де. *Французский католицизм. Трактат 1636 года*), в: Там же. С. 376.

<sup>72</sup> Albert Sorel. *Europe Under the Old Regime* (Сорель Альбер. *Европа при старом режиме*), перевод: Francis H. Herrick. (Los Angeles: Ward Ritchie Press, 1947), p. 10.

ления собственного национального интереса, что это породило множество страшнейших трагедий нашего века.

Но боги часто карают людей, охотно исполняя их желания с перевыполнением. Анализ кардинала в отношении того, что успех Контрреформации низвел бы Францию до уровня придатка все более централизованной Священной Римской империи, был почти наверняка верным, особенно если учесть, как, должно быть, учитывал и он, что настала эпоха национальных государств. Но если Немезидой возмездия для вильсонского идеализма становится разрыв между его заявлениями и реальностью, то возмездием для концепции приоритета государственных интересов является чрезмерное расширение сферы применения этого принципа – за исключением того случая, когда это отдано на откуп мастеру, но и тогда тоже есть опасность перегиба.

Все дело в том, что концепция Ришелье *raison d'état* не содержит внутренних ограничений. Как далеко можно зайти, чтобы считать интересы государства обеспеченными в достаточной мере? Сколько потребуются войн, чтобы достичь безопасности? Вильсонский идеализм, провозглашающий бескорыстную политику, подспудно несет в себе постоянную опасность пренебрежения интересами государства, а применявшийся Ришелье принцип *raison d'état* грозит саморазрушительными проявлениями большой силы, *tours de force*. Именно это случилось с Францией после того, как взшел на престол Людовик XIV. Ришелье завещал французским королям очень и очень сильное государство, граничащее со слабой и раздробленной Германией и приходящей в упадок Испанией. Но Людовик XIV не мог наслаждаться безопасностью, в ней он видел лишь возможности для завоеваний. В чересчур ревностном следовании принципу приоритета интересов своей державы Людовик XIV напугал всю остальную Европу и тем самым сколотил антифранцузскую коалицию, в итоге сорвавшую его план.

Тем не менее в течение 200 лет после Ришелье Франция была наиболее влиятельной страной в Европе и вплоть до сегодняшнего дня остается крупным фактором международной политики. Немногие государственные деятели любой страны могут претендовать на аналогичное достижение. И все же величайшие успехи Ришелье имели место в те времена, когда он был единственным государственным деятелем, отбросившим моральные и религиозные ограничения периода Средневековья. Преемники Ришелье неминуемо унаследовали задачу управления такой системой, в которой многие государства действовали с его позиций. В силу этого Франция утратила преимущество того, что была один на один с противниками, которых сдерживали моральные соображения, как это было с Фердинандом II во времена Ришелье. Коль скоро все государства действовали по одним и тем же правилам, стало намного труднее добиваться каких-то достижений. Несмотря на всю славу, которую принесла Франции концепция приоритета национальных интересов, она свелась к бегу в закрытом загоне, какой-то бесконечной попытке расширения своих внешних границ. При этом страна выступала в роли арбитра при разрешении конфликтов между германскими государствами и, следовательно, воплощала на практике свою преобладающую роль в Центральной Европе. И это продолжалось до тех пор, пока Франция не лишилась сил от постоянных своих усилий и не стала постепенно терять способность формировать Европу в соответствии с собственными планами и представлениями.

Принцип *raison d'état* давал рациональную основу поведению отдельных стран, но не нес в себе ответа на вызовы мирового порядка. Концепция приоритета государственных соображений могла привести к стремлению к лидерству или к установлению равновесия. Но само равновесие редко возникает вследствие сознательно продуманных планов. Как правило, оно вытекает из процесса противодействия попыткам какой-то конкретной страны доминировать, как, к примеру, европейский баланс сил возник вследствие усилия по сдерживанию Франции.

В мире, открытом Ришелье, государства более не сдерживали себя видимостью соблюдения моральных норм. Если благо государства было наивысшей ценностью, долгом правителя являлось расширение его территории и рост его славы. Более сильный будет стремиться

к доминированию, а более слабый будет сопротивляться, создавая коалиции, чтобы увеличить свою индивидуальную мощь. Если коалиция была достаточно сильна, чтобы сдерживать агрессора, возникал баланс сил; если нет, то какая-то из стран добивалась гегемонии. Последствия этого, однако, вовсе не воспринимались как заранее предопределенные и потому подвергались испытанию многочисленными войнами. На начальной стадии возможным исходом вполне могла бы быть империя – французская или германская – для равновесия. Вот почему понадобилось более 100 лет, чтобы установился европейский порядок, основанный исключительно на балансе сил. Вначале баланс сил был почти случайным явлением жизни, а не целью международной политики.

Довольно любопытно, но философы того времени воспринимали данную ситуацию совсем не таким образом. Сыны эпохи Просвещения, они отражали веру XVIII века в то, что из столкновения соперничающих интересов возникнут гармония и справедливость. Концепция баланса сил просто представлялась продолжением принципа здравого смысла. Ее основным назначением было предотвращение господства одного государства и сохранение международного порядка; она была предназначена не для предотвращения конфликтов, а для их ограничения. Для расчетливых государственных деятелей XVIII века прекращение конфликта (или амбиций, или алчности) представлялось утопией; решение заключалось в том, чтобы обуздать или нейтрализовать врожденные недостатки человеческой природы ради достижения по возможности наилучших долгосрочных результатов.

Философы времен Просвещения воспринимали международную систему как часть Вселенной, работающую подобно большому часовому механизму, который никогда не останавливается, неумолимо ведет к лучшему из миров. В 1751 году Вольтер описывал «христианскую Европу» как «некую огромную республику, разделенную на ряд государств, некоторые монархические, другие смешанные по своему устройству... но все они пребывают в гармоничных отношениях друг с другом... все руководствуются одними и теми же принципами публичного и государственного права, неведомыми в других частях мира». Эти государства «превыше всего... следуют, как один, мудрой политике поддержания друг перед другом, насколько это возможно, равного баланса сил»<sup>73</sup>.

Монтескье поднимал ту же самую тему. По Монтескье, баланс сил породил единство из многообразия:

«Положение дел в Европе сводится к тому, что все государства зависят друг от друга. ... Европа является единым государством, состоящим из нескольких провинций»<sup>74</sup>.

Когда писались эти строки, XVIII век уже пережил две войны за испанское наследство, одну войну за польское наследство и ряд продолжительных войн за австрийское наследство.

В том же духе юрист Эмерих де Ваттель, занимавшийся вопросами философии и истории, смог написать в 1758 году, втором году Семилетней войны, следующее:

«Ведущиеся непрерывные переговоры превращают современную Европу в нечто вроде республики, все члены которой – будучи по отдельности независимы, связаны воедино общим интересом – объединяются ради поддержания мира и сохранения свободы. Именно это дало толчок возникновению хорошо известного принципа баланса сил, который предназначен для

---

<sup>73</sup> В: F. H. Hinsley. *Power and the Pursuit of Peace* (Хинсли Ф. Х. *Сила и борьба за мир*). (Cambridge: Cambridge University Press, 1963), p. 162–63.

<sup>74</sup> Там же. С. 162.

того, чтобы дела складывались так, чтобы ни одно государство не оказывалось в положении, дающем ему возможность иметь абсолютную власть и доминировать над другими»<sup>75</sup>.

Философы путали результат с целью. На протяжении всего XVIII века князья в Европе вели бесчисленные войны, и не было при этом даже намека на подтверждение того, что сознательной целью была реализация общего понятия мирового порядка. В тот самый момент, когда международные отношения начинали основываться на силе, возникало такое количество новых факторов, что расчеты становились все более и более неуправляемыми.

Многочисленные династии того времени с тех самых пор все свое внимание направляли на усиление своей безопасности посредством территориальной экспансии. При этом решительно менялась ситуация с соотношением сил нескольких из них. Испания и Швеция постепенно опускались до статуса второразрядных стран. Польша начала скатываться к прекращению существования. Россия (вовсе не участвовавшая в заключении Вестфальского мира) и Пруссия (игравшая незначительную роль) превращались в крупные державы. Баланс сил достаточно трудно проанализировать, даже когда его компоненты находятся в более или менее стабильном состоянии. Задача и вовсе становится безнадежно запутанной, когда относительная мощь государств постоянно меняется.

Вакуум, созданный в Центральной Европе благодаря Тридцатилетней войне, побуждал соседние страны заполнить его. Франция продолжала оказывать давление на западе. Россия продвигалась с востока. Пруссия осуществляла экспансию в центре континента. Ни одна из ведущих континентальных стран не ощущала никаких особых обязательств в отношении баланса сил, так расхваливаемого философами. Россия полагала, что находится довольно далеко от центра событий. Пруссия, как самая маленькая из великих держав, была все еще слишком слаба, чтобы повлиять на общее равновесие. Каждый монарх утешал себя тем, что укрепление прочности собственного правления как раз и является величайшим возможным вкладом в дело всеобщего мира, и уповал на вездесущую невидимую руку, чтобы оправдать свои действия, не ограничивая при этом амбиции.

Характер принципа приоритета государственных интересов, как по большому счету анализа риска и потенциальной выгоды, наглядно демонстрируется тем, как Фридрих Великий оправдывал отторжение Силезии от Австрии, несмотря на существовавшие до того дружественные отношения Пруссии с этим государством и несмотря на обязательства по договору уважать территориальную целостность Австрии:

«Превосходство наших войск, быстрота, с которой мы можем привести их в действие, короче говоря, наше явное преимущество над соседями придает нам в этой неожиданной чрезвычайной ситуации безграничное превосходство над всеми прочими державами Европы. ... Англия и Франция наши враги. Если Франция захочет вмешаться в дела империи, Англия не допустит этого, так что я всегда смогу вступить в надежный союз с любой из них. Англия не будет ревниво относиться к приобретению мною Силезии, что не принесет ей ни малейшего вреда, а ей нужны союзники. Голландии будет все равно, тем более если будут гарантированы займы, предоставленные Силезии амстердамским деловым миром. Если же мы не сумеем договориться с Англией и Голландией, то мы, конечно, сможем заключить сделку с Францией, которая не позволит себе разрушить наши планы и будет лишь приветствовать подрыв могущества императорского дома. Только одна Россия могла бы создать нам проблемы. Если императрица будет жить... мы сможем подкупить ее ведущих советников. Если же она умрет, то русские будут заняты до такой степени, что у них не останется времени на иностранные дела...»<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Там же. С. 166.

<sup>76</sup> Цитируется по: Gordon A. Craig and Alexander L. George, *Force and Statecraft* (Крэйг Гордон Э. и Джордж Александр Л.

Фридрих Великий рассматривал международные дела как игру в шахматы. Он хотел захватить Силезию, чтобы усилить мощь Пруссии. Единственным препятствием своим планам он считал сопротивление со стороны превосходящих по мощи держав, а не мораль и угрызения совести. Его анализ сводился к учету риска и ожидаемой выгоды: если он завоюет Силезию, ответят ли другие государства ударом на удар или потребуют компенсацию?

Фридрих подвел все расчеты так, что они оказались в его пользу. Завоевание им Силезии сделало Пруссию подлинно великой державой, но также привело к серии войн, поскольку другие страны попытались приспособиться к появлению этого нового игрока. Первой была война за австрийское наследство, которая шла с 1740 по 1748 год. В ней на стороне Пруссии выступали Франция, Испания, Бавария и Саксония, перешедшая в 1743 году на другую сторону, в то время как Великобритания поддержала Австрию. В другой войне – Семилетней войне, продолжавшейся с 1756 по 1763 год, – роли поменялись. К Австрии теперь присоединились Россия, Франция, Саксония и Швеция, в то время как Великобритания и Ганновер поддержали Пруссию. Перемена сторон явилась результатом чистейших расчетов сиюминутной выгоды и конкретных компенсаций, а не применения какого-либо доминирующего принципа международного порядка.

И тем не менее некое подобие равновесия стало постепенно проявляться из этой кажущейся анархии и грабительства, в которых каждое государство всеми силами стремилось нарастить собственную мощь. И произошло это не в результате самоограничения, а благодаря тому, что ни одно государство, и даже Франция, не было достаточно сильным, чтобы навязать свою волю всем остальным и таким образом создать империю. Когда какое-то одно государство грозило занять господствующие позиции, его соседи тут же формировали коалицию – но не в целях воплощения в жизнь некоей теории международных отношений, а из сугубо эгоистических соображений, направленных на блокирование честолюбивых устремлений сильнейшего.

Эти постоянные войны не привели к опустошениям, типичным для религиозных войн, по двум причинам. Как ни парадоксально, но абсолютные правители XVIII века были не настолько всемогущими, чтобы мобилизовать все ресурсы для войны, как это было в случае, когда религия, или идеология, или избранное народом правительство могли вызвать огромный эмоциональный подъем. Они были ограничены традициями и, возможно, шаткостью собственного положения, не могли вводить подоходные налоги и многие другие поборы, присущие нынешним временам. Это, следовательно, вело к ограничениям на объем национального богатства, который потенциально мог бы быть предназначен на оборону. Да и технология производства вооружений была еще не очень развитой.

Главное, что баланс сил на континенте был восстановлен и, по существу, поддерживался благодаря появлению державы, чья внешняя политика была откровенно направлена на сохранение этого баланса. Политика Англии основывалась на поддержке, когда это требовалось, наиболее слабой и подвергшейся угрозе стороне для восстановления нарушенного равновесия. Творцом этой политики был английский король Вильгельм III Оранский, суровый и имеющий богатый житейский опыт голландец по происхождению. В своей родной Голландии он пострадал от амбиций французского «короля-солнца» и, когда стал королем Англии, занялся формированием коалиций, чтобы вставлять палки в колеса Людовика XIV при каждом удобном случае. Англия была единственной европейской страной, чьи высшие государственные интересы не требовали экспансии в Европе. Считая, что ее национальный интерес заключается в поддержании европейского баланса, она была единственной страной, которая не искала для себя на континенте ничего больше, кроме как недопущения господства в Европе какой-то одной

державы. Для достижения этой цели она была готова вступать в любую коалицию стран, выступающих против такого рода действий.

Баланс сил постепенно устанавливался путем перетряхивания под руководством Англии коалиций, направленных против французских попыток господствовать в Европе. Этот механизм лежал в основе почти каждой войны, которые велись в XVIII веке, и каждая возглавляемая Англией коалиция против французской гегемонии сражалась во имя тех же самых европейских свобод, которые впервые задействовал Ришелье в Германии в борьбе против Габсбургов. Баланс сил сохранялся потому, что страны, выступавшие против французского господства, были слишком сильны, и их трудно было победить. А также еще и потому, что полутора-вековой экспансионизм постепенно истощил французскую казну.

Роль Великобритании в качестве стабилизатора отражала геополитический факт. Выживание относительно небольшого острова у берегов Европы было бы под угрозой, если бы все ресурсы континента оказались под властью единственного правителя. Поскольку в таком случае Англия (как это имело место до ее объединения с Шотландией в 1707 году) обладала гораздо меньшими ресурсами и числом населения и рано или поздно оказалась бы во власти континентальной империи.

«Славная революция» 1688 года в Англии ввергла ее в немедленную конфронтацию с королем Франции Людовиком XIV. «Славная революция» низложила католического короля Якова II. В поисках протестантской замены на континенте Англия выбрала Вильгельма Оранского, правителя («штатгальтера») Нидерландов, который на законных основаниях являлся претендентом на английский престол, благодаря своей женитьбе на Марии, дочери низложенного короля. Вместе с Вильгельмом Оранским Англия получила идущую войну с Людовиком XIV по поводу территории, которая позднее станет Бельгией, изобиловавшей стратегически важными крепостями и гаванями, находившимися в опасной близости от английского побережья (хотя подобная озабоченность образовалась лишь со временем). Вильгельм знал, что, если Людовику XIV удастся оккупировать эти крепости, Нидерланды потеряют независимость, а перспективы французского господства над Европой возрастут, и это станет прямой угрозой для Англии. Решимость Вильгельма направить английские войска, чтобы вести войну против Франции за сегодняшнюю Бельгию, предвосхитило британское решение воевать за Бельгию в 1914 году, когда туда вторглись немцы.

С того времени Вильгельм возглавил борьбу против Людовика XIV. Низкорослый, сутулый до горбатости и страдающий от астмы, Вильгельм на первый взгляд не производил впечатления человека, кому судьбой было предназначено посрамить «короля-солнце». Но принц Оранский обладал железной волей в сочетании с необыкновенной живостью ума. Он убедил себя – почти наверняка правильно – в том, что, если Людовику XIV, уже ставшему наиболее могущественным монархом в Европе, будет позволено завоевать Испанские Нидерланды (сегодняшнюю Бельгию), Англия сильно рискует. Следовало сколотить коалицию, способную обуздать французского короля, и все это не ради абстрактной теории баланса сил, а во имя независимости как Нидерландов, так и Англии. Вильгельм отдавал себе отчет в том, что замыслы Людовика XIV в отношении Испании и ее владений, если они будут осуществлены, превратят Францию в сверхдержаву, которой не сможет противостоять ни одно государство ни в каком сочетании. Для предотвращения подобной опасности он стал искать себе партнеров и вскоре их обнаружил. Швеция, Испания, Савой, австрийский император, Саксония, Голландская республика, Англия сформировали Великий Альянс – крупнейшую коалицию сил, которые когда-либо были направлены против одной державы, когда-либо существовавшей в истории тогдашней Европы. Почти четверть века (с 1688 по 1713 год) Людовик практически непрерывно вел войны против этой коалиции. В итоге, однако, французская погоня за приоритетом государственных соображений была остановлена в связи с возобладавшими собственными интересами

других государств Европы. Франция оставалась сильнейшим государством Европы, но не стала доминирующей. Это хрестоматийный пример действия системы баланса сил.

Враждебное отношение Вильгельма к Людовику XIV не носило личного характера и не основывалось на каких-либо антифранцузских чувствах; оно отражало трезвую оценку могущества и безграничных амбиций «короля-солнца». Вильгельм как-то поделился мнением со своим помощником о том, что, живи он в 1550-е годы, когда Габсбурги грозились установить господство над Европой, он был бы «до такой же степени французом, до какой сейчас является испанцем»<sup>77</sup>, – заявление, предвосхитившее ответ на заданный Уинстону Черчиллю в 1930-е годы вопрос, почему он является антигерманцем. «Если бы обстоятельства поменялись, мы могли бы в равной степени оказаться прогерманцами и антифранцузами»<sup>78</sup>.

Вильгельм вполне был готов вступить в переговоры с Людовиком, когда ему показалось бы, что именно этим лучше всего было бы достичь баланса сил. Для Вильгельма существовал один простой расчет, который состоял в том, что Англии следует попытаться поддерживать примерное равновесие между Габсбургами и Бурбонами так, чтобы любой более слабый сохранял бы, разумеется, при содействии Англии, это равновесие в Европе. Всегда со времен Ришелье слабейшей страной в Европе была Австрия, и потому Великобритания выступала в одном ряду с Габсбургами против французского экспансионизма.

Идея выступить в роли регулятора равновесия в момент ее первого появления не очень-то понравилась британской общественности. В конце XVII века британское общественное мнение было настроено изоляционистски, что было во многом схоже с американским двумя столетиями спустя. Преобладал довод о том, что всегда будет достаточно времени, чтобы отразить угрозу, если вообще таковая появится. Незачем бороться заранее с предположительными опасностями, источником которых какая-то страна, *возможно*, станет когда-то позже.

Вильгельм сыграл роль, схожую с ролью, сыгранной Теодором Рузвельтом позднее в Америке, и предупредил свой, по сути, настроенный изоляционистски народ о том, что их безопасность зависит от участия в системе баланса сил за рубежом. И его соотечественники согласились с его воззрениями гораздо быстрее, чем американцы встали на точку зрения Рузвельта. Через примерно двадцать лет после смерти Вильгельма газета «Крафтсмен», типичный представитель оппозиции<sup>79</sup>, заявляла, что баланс сил является одним из «оригинальных извечных принципов британской политики». По ее словам, мир на континенте «является до такой степени существенно важным обстоятельством для процветания торгового острова, что... постоянной задачей британского правительства должно быть поддержание его собственными силами и восстановление его, когда он нарушен или потревожен другими»<sup>80</sup>.

Согласие по вопросу о важности баланса сил, однако, не заставило угаснуть споры относительно выбора лучшей стратегии для проведения этой политики. Существовали две философские школы, отражавшие взгляды двух крупнейших политических партий, представленных в парламенте. В значительной степени это очень похоже на расхождения во взглядах в Соединенных Штатах после двух мировых войн. Виги утверждали, что Великобритании следует вмешиваться лишь тогда, когда угроза балансу сил уже налицо и лишь на такой срок, который требуется, чтобы устранить эту угрозу. Тори же, напротив, полагали, что основной обязанностью Великобритании является *формирование*, а не просто защита баланса сил. Виги придерживались того мнения, что всегда будет достаточно времени, чтобы отразить нападение

<sup>77</sup> G. C. Gibbs. "The Revolution in Foreign Policy" (Гиббс Дж. К. *Революция во внешней политике*), в: Geoffrey Holmes, ed. *Britain after the Glorious Revolution, 1689–1714* (Британия после Славной революции в 1689–1714 годах). (London: Macmillan, 1969), p. 61.

<sup>78</sup> Winston S. Churchill. *The Gathering Storm, The Second World War* (Черчилль Уинстон С. *Надвигающийся шторм. Вторая мировая война*), vol. 1 (Boston: Houghton Mifflin, 1948), p. 208.

<sup>79</sup> Газету «Крафтсмен» («Мастер») издавал приверженец тори 1-й виконт Болинбрук. – *Прим. перев.*

<sup>80</sup> Цитируется по: Гиббс. *Революция*, в: *Британия после Славной революции*. С. 62.

на Нидерланды, после того, как это произошло. Тори доказывали, что политика выжидания может позволить агрессору непоправимо ослабить баланс сил. В силу этого, если Великобритания не желала вести войну в Дувре, она обязана была противостоять агрессии вдоль течения Рейна или в любом другом месте Европы, где баланс сил, как казалось, подвергался угрозе. Виги считали альянсы временными средствами, от которых следует отказываться сразу после того, как победа сделает общие цели спорными, в то время как тори настаивали на британском участии в договоренностях о сотрудничестве долгосрочного характера, чтобы Великобритания имела возможность содействовать направлению событий в нужное русло и сохранять мир.

Лорд Картерет, министр иностранных дел в правительстве тори с 1742 по 1744 год, весьма красноречиво выступил в защиту постоянной вовлеченности Англии в Европе. Он осудил склонность вигов «не принимать во внимание все беды и беспорядки на континенте и не покидать наш собственный остров в поисках врагов, а заниматься торговлей и жить в свое удовольствие, вместо того, чтобы лицом к лицу встречать опасность за рубежом, спать в безопасности, пока нас не разбудит тревожный набат на наших собственных берегах». Великобритания, как сказал он, обязана постоянно, в собственных же интересах поддерживать Габсбургов в противовес Франции, «поскольку, если французский монарх как-нибудь увидит, что у него нет соперников на континенте, будет сидеть преспокойно со своими завоеваниями и сможет потом уменьшить численность гарнизонов, оставит крепости и распустит сухопутное войско. Но то сокровище, которое позволяет ему заполнять равнины солдатами, вскоре даст ему возможность осуществить планы, гораздо более опасные для нашей страны. ...И мы должны, соответственно, милорды... оказывать содействие Австрийскому дому, так как он является единственной силой, которую можно положить на чашу весов, дабы перевесить силу государей из династии Бурбонов»<sup>81</sup>.

Различие между стратегией внешней политики у вигов и тори носило практический, а не философский характер, оно было тактическим, а не стратегическим, и оно отражало оценки каждой из партий степени уязвимости Великобритании. Выжидательная политика вигов отражала убежденность в наличии у Великобритании значительного запаса в плане безопасности. Тори же считали положение Великобритании более рискованным. Примерно то же самое отличие разделит американских изоляционистов и американских глобалистов в XX веке. Ни Великобритании в XVIII и XIX веках, ни Америке в XX веке не удалось с легкостью убедить собственных граждан в том, что их безопасность требует постоянного участия в мировых делах, а не изоляции.

Периодически в обеих странах появлялся лидер, поднимавший перед своим народом проблему необходимости постоянной вовлеченности в мировые дела. Вильсон стал инициатором создания Лиги Наций; Картерет носился с идеей постоянной вовлеченности в события на континенте; Каслри, министр иностранных дел с 1812 по 1821 год, выступал в защиту системы европейских конгрессов, а Гладстон, премьер-министр конца XIX века, предложил первую версию системы коллективной безопасности. В итоге их призывы не увенчались успехом, потому что вплоть до конца Второй мировой войны невозможно было убедить ни английский, ни американский народы в том, что они стоят перед смертельной угрозой миру до тех пор, пока она не оказалась непосредственно перед ними.

Таким образом, Великобритания стала регулятором европейского равновесия, вначале как бы по умолчанию, а затем уже в результате сознательно избранной стратегии. Без твердой приверженности Великобритании этой своей роли Франция обязательно добилась бы гегемонии над Европой в XVIII или XIX веке, а Германия сделала бы то же самое в современный

---

<sup>81</sup> Speech by Secretary of State, Lord John Carteret, Earl of Granville, in the House of Lords, January, 27, 1744 (Речь министра иностранных дел лорда Джона Картерета, графа Грэнвилла, в палате лордов 27 января 1744 года), в: Joel H. Wiener, ed. *Great Britain: Foreign Policy and the Span of Empire, 1689–1971* (Винер. *Великобритания: внешняя политика и масштабы империи. 1689–1971 годы*), vol. 1 (New York/London: Chelsea House in association with McGraw-Hill, 1972), p. 84–86.

период. В этом смысле Черчилль был абсолютно прав, утверждая двумя веками позднее, что Великобритания «сохранила свободы Европы»<sup>82</sup>.

В начале XIX века Великобритания превратила свою специальную защиту системы баланса сил в некоего рода сознательно продуманный план. До этого она шла к своей политике со всей прагматичностью, в соответствии со склонностями британского народа, оказывая сопротивление любой стране, угрожавшей европейскому равновесию, которой в XVIII веке однозначно была Франция. Войны заканчивались компромиссом, обычно незначительно усиливавшим позиции Франции, но не дающим ей возможности завоевать гегемонию, что было ее настоящей целью.

Все вело к тому, что Франция дала такой повод для первого подобного заявления по вопросу о том, что Великобритания конкретно понимает под балансом сил. Стремясь к достижению превосходства на протяжении полутора столетий во имя *raison d'état*, высших интересов государства, Франция после революции вернулась к прежним концепциям универсализма. Франция больше не ссылалась на принцип приоритета государственных соображений для оправдания своего экспансионизма, и уж тем более во славу павших королей. После революции Франция вела войну со всеми странами Европы, чтобы сохранить завоевания революции и распространить республиканские идеалы по всей Европе. В очередной раз обладающая превосходящими силами Франция грозила доминировать в Европе. Войско, набранное по принципу всеобщей воинской повинности, и идеологический порыв пронесли, как на крыльях, французские армии по Европе во имя всеобщих принципов свободы, равенства и братства. При Наполеоне они очень близко подошли к созданию Европейского содружества наций, центром которого была бы Франция. К 1807 году французские войска создали королевства-сателлиты вдоль Рейна, в Италии и Испании, низвели Пруссию до положения второрядной державы и существенно ослабили Австрию. Только Россия стояла на пути Наполеона и Франции к господству над всей Европой.

И все же Россия вызывала двойственное к себе отношение: отчасти надежду и отчасти страх, что и явилось ее судьбой вплоть до наших дней. В начале XVIII века русская граница проходила по Днепру; а столетием позднее она уже находилась на Висле, в 800 километрах к западу. В начале XVIII века Россия боролась за свое существование со Швецией под Полтавой, в глубине территории сегодняшней Украины. К середине столетия она уже участвовала в Семилетней войне, и ее войска находились в Берлине. А к концу того же столетия она выступила в роли главного участника раздела Польши.

Еще неопытная физическая сила России приобретала все более и более зловещий характер в силу безжалостной деспотичности ее внутренних институтов. Ее абсолютизм не был смягчен обычаем или уверенной в себе, независимой аристократией, как это было с монархами, правившими в силу божественного права в Западной Европе. В России все зависело от прихоти царя. И русская внешняя политика вполне могла колебаться от либерализма к консерватизму в зависимости от настроения правящего царя – как это и происходило при царствовании Александра I. Дома, однако, не делалось даже попыток проведения либеральных экспериментов.

В 1804 году деятельный Александр I, царь всея Руси, обратился с предложением к британскому премьер-министру Уильяму Питту Младшему, наиболее непримиримому противнику Наполеона. Будучи под сильнейшим влиянием философов эпохи Просвещения, Александр I вообразил себя моральной совестью Европы и находился в последней стадии временного страстного увлечения либеральными институтами. Находясь в таком состоянии духа, он предложил Питту расплывчатую схему достижения всеобщего мира, заключающуюся в призыве ко всем странам пересмотреть свои конституции в целях ликвидации феодализма и введения конституционного правления. После этого реформированные государства откажутся от

<sup>82</sup> Черчилль. *Надвигающийся шторм*. С. 208.

применения силы и будут передавать споры с другими государствами на рассмотрение арбитража. Таким образом, русский самодержец стал неожиданным предшественником вильсоновской идеи о том, что либеральные институты являются предпосылкой для мира, хотя он никогда не заходил так далеко, чтобы пытаться осуществить эти принципы на практике со своим собственным народом. Через несколько лет он вообще сместится к противоположной, консервативной крайности политического спектра.

Питт оказался во многом в таком же положении по отношению к Александру, в каком оказался Черчилль по отношению к Сталину примерно через 150 лет. Ему отчаянно нужна была русская поддержка в борьбе с Наполеоном, поскольку трудно было себе представить, каким еще способом можно было бы разбить Наполеона. С другой стороны, Питт, не более чем позднее Черчилль, был заинтересован в том, чтобы одна господствующая страна заменила другую, или в том, чтобы поддержать Россию в ее амбициях стать арбитром Европы. Более того, внутренние британские запреты не позволяли никакому премьер-министру строить мир на основе социально-политической реформы Европы. Ни одна из войн, которую вела Великобритания, не ставила перед собой подобной цели, потому что британский народ не видел для себя угрозу в каких бы то ни было социально-политических волнениях на континенте, угроза усматривалась только лишь в нарушении баланса сил.

Ответ Питта Александру I учитывал все эти элементы. Проигнорировав призыв России к политической реформе в Европе, Питт сделал акцент на равновесии, которое следовало бы формировать для сохранения мира. Впервые со времени заключения Вестфальского мира полтора столетия назад рассматривался вопрос о всеобщем урегулировании в Европе. И впервые в истории такого рода урегулирование должно было со всей очевидностью опираться на баланс сил.

Главную причину нестабильности Питт видел в слабости Центральной Европы, что неоднократно заставляло Францию совершать нападения и делать попытки добиваться своего господства. (Он был слишком вежлив и слишком нуждался в русской помощи, чтобы подчеркнуть, что Центральная Европа, обладающая достаточной силой для того, чтобы противостоять французскому давлению, сможет точно так же помешать и русским экспансионистским соблазнам.) Европейское урегулирование следовало начать с того, чтобы лишить Францию всех ее послереволюционных завоеваний и одновременно восстановить независимость Нидерландов, тем самым ловко превратив британскую озабоченность в основу урегулирования<sup>83</sup>.

Уменьшение французского перевеса было бы, однако, бесполезным, если бы наличие более 300 мелких германских государств продолжало вызывать у Франции искушение давить на них и вторгаться в них. Чтобы свести на нет такие амбиции, Питт посчитал необходимым создать «огромные массы» в центре Европы путем консолидации германских княжеств в более крупные образования. Некоторые из государств, присоединившиеся к Франции или бесславно капитулировавшие перед ней, должны были быть аннексированы Пруссией или Австрией. Другие должны быть преобразованы в более крупные структурные образования.

Питт избегал любых намеков на европейское правительство. Вместо этого он предложил, чтобы Великобритания, Пруссия, Австрия и Россия гарантировали новое территориальное переустройство в Европе путем создания постоянного альянса, направленного против французской агрессии, – точно так же, как Франклин Д. Рузвельт позднее пытался сделать фундаментом международного порядка после Второй мировой войны союз против Германии и Японии. Ни Великобритания в наполеоновские времена, ни Америка в период Второй мировой войны не могли и предположить, что самой большой угрозой миру в будущем может оказаться нынешний союзник, а не разгромленный еще враг. Страхом перед Наполеоном объяснялась

---

<sup>83</sup> План Питта в: Sir Charles Webster, ed. *British Diplomacy 1813–1815* Вебстер Чарльз, сэр. (Британская дипломатия в 1813–1815 годах). (London: G. Bell and Sons, 1921), p. 389ff.

готовность британского премьер-министра согласиться с тем, что до того времени столь решительно отвергалось его страной – необходимость постоянной вовлеченности в дела на континенте, – и согласие Великобритании пойти на ограничение своей тактической гибкости, обосновав свою политику предпосылкой относительно наличия постоянного врага.

Возникновение в XVIII и XIX веках европейского баланса сил в определенных аспектах сопоставимо с переустройством мира в период после окончания холодной войны. В то время, как и сейчас, разрушавшийся мировой порядок породил множество государств, преследующих собственные национальные интересы и не сдерживающих себя никакими высшими принципами. Тогда, как и теперь, государства, формирующие международный порядок, искали какое-то определение своей международной роли. В те времена многие различные государства решили целиком и полностью полагаться на утверждение собственных национальных интересов, уповая на так называемую «невидимую руку». Вопрос заключается в том, сможет ли мир после окончания холодной войны найти какой-либо принцип, ограничивающий утверждение власти и собственных эгоистических интересов. Разумеется, в конечном счете баланс сил всегда складывается де-факто, когда происходит взаимодействие нескольких государств. Вопрос стоит так: сможет ли поддержание системы международных отношений происходить согласно продуманному плану или все сложится в результате серии испытаний на прочность.

К моменту окончания Наполеоновских войн Европа была готова разработать – единственный раз за всю свою историю – международный порядок, базирующийся на принципах баланса сил. В испытаниях периода войн XVIII – начала XIX века пришло осознание того, что баланс сил не может быть всего лишь остаточным явлением от столкновения европейских государств. План Питта намечал территориальное урегулирование в целях исправления слабостей мирового порядка XVIII века. Но союзники Питта на континенте получили дополнительный урок.

Оценивать силу слишком трудно, а готовность оправдать ее носит слишком многообразные формы, чтобы относиться к ней как к надежному проводнику к международному порядку. Равновесие срабатывает лучше всего, если оно подкреплено соглашением относительно общепринятых ценностей. Баланс сил препятствует появлению *возможностей* разрушить международный порядок; договоренность относительно общепринятых ценностей препятствует возникновению *желания* его разрушить. Сила, лишенная легитимности, провоцирует испытания на прочность; легитимность, лишенная силы, провоцирует пустое позерство.

Сочетание обоих элементов было и испытанием на прочность, и успехом Венского конгресса, установившего сохранявшийся целое столетие международный порядок, не нарушавшийся мировой войной.

## Глава 4

# «Европейский концерт» в составе Великобритании, Австрии и России

Пока Наполеон пребывал в своей первой ссылке на острове Эльба, завершившие Наполеоновские войны победители собрались в сентябре 1814 года в Вене, чтобы выработать планы послевоенного устройства мира. Венский конгресс продолжал работать даже во время бегства Наполеона с Эльбы и его окончательного поражения при Ватерлоо. В силу этого необходимость перестройки мирового порядка стала гораздо более срочной.

Австрию на переговорах представлял князь фон Меттерних, хотя, поскольку конгресс заседал в Вене, австрийский император все время находился за кулисами. Король Пруссии направил князя Гарденберга, а только что вступивший на престол в результате реставрации французский король Людовик XVIII полагался на Талейрана, который вел послужной список своей работы на каждого из правителей Франции, начиная с времен Великой французской революции. Царь Александр I, не желая уступить высокое положение престижного места России никому другому, приехал вести переговоры лично. Великобританию представлял на переговорах английский министр иностранных дел лорд Каслри.

Эти пятеро достигли цели, которую они перед собой поставили. После Венского конгресса Европа пережила самый продолжительный период мира за всю свою историю. В течение 40 лет не было ни одной войны с участием великих держав, а после Крымской войны 1854 года мировых войн не было еще 60 лет. Достигнутое в Вене урегулирование до такой степени точно соответствовало плану Питта, что когда Каслри представил его парламенту, то приложил проект первоначального британского предложения, чтобы продемонстрировать, насколько близко оно к тексту окончательного документа.

Как ни парадоксально, но этот международный порядок, который создавался со всей очевидностью более всего ради баланса сил, чем любой из предыдущих и последующих порядков, менее всего опирался на силу для его поддержания. Это уникальное состояние дел было обусловлено отчасти тем, что равновесие было так хорошо рассчитано, что его можно было разрушить только усилием такой мощи, установить которую было слишком трудно. Но самой важной причиной было то, что страны континента были связаны друг с другом чувством общности ценностей. Речь шла не только о физическом, но и о моральном равновесии. Сила и справедливость гармонично дополняли друг друга. Баланс сил уменьшает возможности применения силы; разделяемое всеми чувство справедливости уменьшает желание применить силу. Международный порядок, не рассматриваемый как справедливый, рано или поздно столкнется с вызовами. Но степень восприятия народом справедливости того или иного мирового порядка настолько же зависит от характера его внутренних институтов, насколько и от его оценки тактических внешнеполитических вопросов. По этой причине совместимость между внутренними институтами является подкреплением для дела мира. Как бы иронично это ни выглядело, но Меттерних оказался предвестником Вильсона. Он также верил, что разделяемая всеми концепция справедливости является предпосылкой создания международного порядка, несмотря на то, что его представление о справедливости было диаметрально противоположно тому, которого придерживался Вильсон и которое он в XX веке пытался конституировать в той или иной форме.

Создание общего баланса сил оказалось сравнительно простым делом. Государственные деятели следовали плану Питта, как по чертежу архитектора. С учетом того, что идея национального самоопределения тогда еще не была изобретена, участники конгресса меньше всего были заинтересованы в выкраивании этнически однородных государств из территорий,

отбитых у Наполеона. Австрия усилила свои позиции в Италии, а Пруссия в Германии. Голландская республика заполучила Австрийские Нидерланды (по большей части нынешнюю Бельгию). Франция вынуждена была отдать все свои завоевания и вернуться к «старым границам», в которых она существовала накануне революции. Россия заполучила центральную часть Польши. (В соответствии с принципом отказа от территориальных приобретений на континенте Великобритания ограничилась приобретением мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки.)

С точки зрения британской концепции мирового порядка проверкой действенности системы баланса сил являлся уровень совершенства исполнения отдельными нациями ролей, отведенных им согласно генеральному плану, – примерно так же Соединенные Штаты стали рассматривать свои союзы в период после Второй мировой войны. Во время претворения в жизнь этого подхода Великобритания, когда речь зашла о странах Европейского континента, столкнулась лицом к лицу с теми же расхождениями во взглядах на будущее, как и Соединенные Штаты стали рассматривать свои союзы во время холодной войны. Поскольку страны просто не воспринимали свои цели всего лишь винтиками системы безопасности. Безопасность делает возможным существование государств, но не является ни единственной, ни даже главной их целью.

Австрия и Пруссия больше не воспринимали себя «огромными массами», как позднее Франция вовсе не воспринимала НАТО с точки зрения инструмента разделения труда. Всеобщий баланс сил очень мало значил для Австрии и Пруссии, если он в то же самое время не был связан с оценкой соответствующим образом их собственных особых и сложных отношений или не принимал во внимание исторические роли этих стран.

После провала попытки Габсбургов добиться гегемонии в Центральной Европе во время Тридцатилетней войны Австрия оставила попытки подчинить себе всю Германию. В 1806 году существовавшая лишь номинально Священная Римская империя была упразднена. Но Австрия все равно видела себя первой среди равных и была преисполнена решимости не дать возможности ни одному из остальных германских государств, особенно Пруссии, перенять историческую роль Австрии.

И у Австрии были все основания быть начеку. С тех самых пор как Фридрих Великий захватил Силезию, претензии Австрии на лидерство в Германии был брошен вызов со стороны Пруссии. Жесткая дипломатия, увлеченность военным искусством и высокоразвитое чувство дисциплины в течение столетия вывели Пруссию из разряда второстепенного княжества на неплодородной Северо-Германской низменности и превратили ее в королевство, которое, даже будучи самым малым из числа великих держав, стало в военном отношении вровень с самыми грозными. Его странным образом оформленные границы простирались через Северную Германию от местами польского востока до в некоторой степени латинизированной Рейнской области (отделенной от основной прусской территории Ганноверским королевством). И это придавало прусскому государству всепоглощающее чувство возложенной на него национальной миссии – пусть даже не ради достижения какой-то высшей цели, а только ради защиты собственных расчлененных на части территорий.

Как отношения между этими двумя крупнейшими германскими государствами, так и их взаимоотношения с другими немецкими государствами являлись ключевыми для европейской стабильности. И действительно, по крайней мере, с момента окончания Тридцатилетней войны внутреннее устройство Германии ставило перед Европой одинаковую дилемму: всякий раз, когда Германия была слабой и раздробленной, она была предметом искушения своих соседей, особенно Франции, и экспансионизма с их стороны. В то же самое время перспектива германского объединения приводила в ужас соседние государства, что продолжается вплоть до нынешнего времени. Страхи Ришелье по поводу того, что объединенная Германия сможет господствовать над Европой и превзойти по могуществу Францию, превзошел один бри-

танский обозреватель, так писавший в 1609 году: «...в том, что касается Германии, то, полностью находясь под властью одного монарха, она наводила бы ужас на всех остальных»<sup>84</sup>. Исторически с точки зрения европейского мира эта страна всегда была либо слишком слаба, либо слишком сильна.

Архитекторы Венского конгресса осознавали, что ради достижения мира и стабильности в Центральной Европе им следует переделать сотворенное Ришелье в 1600-х годах. Ришелье способствовал тому, чтобы Центральная Европа была слабой и раздробленной, что постоянно вызывало у Франции искушение завладеть этими землями и превратить их в самый настоящий плацдарм французской армии. И, таким образом, собравшиеся в Вене государственные деятели занялись укреплением, но не объединением Германии. Австрия и Пруссия были ведущими германскими государствами, затем следовал ряд средних по размеру государств, – среди них Бавария, Вюртемберг и Саксония, – которые были укрупнены и усилены. 300 с лишним государств донаполеоновской поры были объединены примерно в 30 стран и связаны в новую общность, названную Германским союзом с конфедеративными основами устройства<sup>85</sup>. Созданный в целях защиты против общего внешнего агрессора, Германский союз оказался гениальным творением. Он был слишком сильным для нападения на него Франции, но слишком слабым и децентрализованным, чтобы угрожать соседям. Союз уравнивал превосходящую военную силу Пруссии в противовес превосходящему престижу и легитимности Австрии. Целью Союза было предотвратить объединение Германии на национальной основе, сохранить троны различных немецких князей и монархов и предупредить французскую агрессию. И по всем этим пунктам цель была успешно достигнута.

Имея дело с побежденным противником, победители, разрабатывающие мирное урегулирование, обязаны осуществить переход от жизненно важной для победы непримиримости к примирению, необходимому для достижения длительного мира. Карательный мир делает заложником весь международный порядок, поскольку накладывает на победителей, истощенных тяготами войны, задачу сдержать страну, преисполненную решимости подорвать урегулирование. Любая чувствующая себя обиженной страна уверена, что сможет почти автоматически рассчитывать на поддержку недовольной побежденной стороны. Это станет проклятием Версальского договора.

Победители на Венском конгрессе, как и победители во Второй мировой войне, подобной ошибки не совершили. Нелегко было проявить великодушие к Франции, пытавшейся в продолжение полутора столетий добиваться господства над Европой, армии которой стояли лагерем на территории соседей в течение четверти века. Тем не менее государственные деятели в Вене пришли к выводу, что в Европе станет безопаснее, если Франция будет скорее относительно довольна, чем раздражена или недовольна. Францию лишили завоеванных земель, но пожаловали ей «старые», то есть дореволюционные границы, даже несмотря на то, что их пределы включали в себя значительно большие территории, чем те, которыми управлял Ришелье. Каслри, министр иностранных дел державы, являвшейся наиболее непримиримым врагом Наполеона, так объяснял этот шаг:

«Продолжающиеся эксцессы во Франции, несомненно, могут подтолкнуть Европу... пойти на какие-то формы расчленения... [но] пусть лучше союзники воспользуются нынешним шансом для обеспечения передышки, которая так требуется всем державам Европы... при наличии гарантии того, что если их постигнет разочарование... то они вновь возьмутся

<sup>84</sup> Sir Thomas Overbury. "Observations on His Travels" (Овербери Томас, сэр. *Наблюдения по поводу его странствий*), в: *Stuart Tracts 1603–1693 (Трактаты о Стюартах, 1603–1693)*, edited by C. H. Firth (London: Constable, 1903), p. 227, цитируется по: Martin Wight. *Power Politics (Уайт Мартин. Силовая политика)*. (New York: Holmes and Meier, 1978), p. 173.

<sup>85</sup> *Германский союз* (нем. *Deutscher Bund*) – объединение независимых германских государств и вольных городов, созданное после Венского конгресса вместо распущенной Наполеоном в 1806 году Священной Римской империи. – *Прим. перев.*

за оружие, не только обладая выгодными позициями, но и имея в своем распоряжении ту самую моральную силу, которая одна только и сможет удержать воедино подобную конфедерацию...»<sup>86</sup>

К 1818 году Франция уже вошла в созданную конгрессом систему и стала участвовать в периодически собиравшихся европейских конгрессах, которые приблизились за целых полстолетия к подобию правительства Европы.

Будучи убежденной в том, что различные страны уже поняли свои собственные интересы настолько, чтобы защищать их в случае какого-либо вызова, Великобритания вполне могла бы довольствоваться этим и оставить все как есть. Британцы были уверены, что не потребуется никаких формальных гарантий или какого-то особенного дополнения к анализу, сделанному с позиций здравого смысла. Страны Центральной Европы, однако, ставшие жертвами полутора-вековых войн, настаивали на ощутимых гарантиях.

В частности, Австрия стояла перед лицом опасностей, непонятных для Великобритании. Являясь наследием феодальных времен, Австрия представляла собой многоязычную империю, объединившую множество народов бассейна Дуная вокруг исторических владений в Германии и Северной Италии. Зная о росте противоречивых тенденций либерализма и национализма, угрожавших самому ее существованию, Австрия стремилась сплести сеть из моральных запретов для предотвращения испытаний на прочность. Непревзойденное мастерство Меттерниха проявилось в том, что ему удалось побудить ключевые страны подчинить свои разногласия пониманию общности разделяемых ценностей. А Талейран так высказался о важности наличия некоего принципа сдержанности:

«Если... минимум сил сопротивления... равнялся бы максимуму сил агрессии... налицо было бы подлинное равновесие. Но... истинное положение дел допускает только такое равновесие, которое является искусственным и нестабильным и которое может длиться лишь в течение такого срока, пока определенные крупные государства вдохновлены чувством умеренности и справедливости»<sup>87</sup>.

По окончании Венского конгресса соотношение между балансом сил и разделяемыми всеми чувствами легитимности нашло отражение в двух документах: об образовании Четверного союза, состоявшего из Великобритании, Пруссии, Австрии и России, и Священного союза, членство в котором ограничивалось тремя так называемыми «восточными дворами» – Пруссией, Австрией и Россией. В начале XIX века на Францию смотрели с таким же страхом, как на Германию в XX веке, – как на неизменно агрессивную и по своей природе дестабилизирующую силу. В силу этого собравшиеся в Вене государственные деятели создали Четырехсторонний альянс, предназначенный для того, чтобы при помощи преобладающей силы задушить в зародыше любые агрессивные французские тенденции. Если бы заседавшие в Версале победители создали подобный альянс в 1918 году, мир, возможно, так бы и не переживал страдания Второй мировой войны.

Священный союз был совершенно иным; Европа не видела подобных документов с тех пор, как почти два столетия назад Фердинанд II покинул трон Священной Римской империи. Он был предложен русским царем, который никак не мог отказаться от самозванной миссии по перекройке системы международных отношений и изменению состава ее участников. В 1804 году Питт свел на нет предложенный им крестовый поход во имя установления либеральных

---

<sup>86</sup> Меморандум лорда Каспри от 12 августа 1815 года, в: Webster, ed. *British Diplomacy 1813–1815 (Британская дипломатия в 1813–1815 годах)*, p. 361–362.

<sup>87</sup> Талейран, в: Harold Nicolson. *The Congress of Vienna (Никольсон Гарольд. Венский конгресс)*. (NewYork/San Diego/London: Harcourt Brace Jovanovich, paper ed. 1974), p. 155.

институтов. К 1815 году Александра переполняло чувство победы, чтобы от него так легко можно было отмахнуться, – независимо от того, что его нынешний крестовый поход был точно противоположен тому, что он отстаивал 11 лет назад. Теперь Александр оказался пленен религией и консервативными ценностями. И он уже предлагал не что иное, как полную перестройку международной системы, основанной на той предпосылке, что «курс, ранее принятый державами во взаимных отношениях, должен быть *фундаментально* изменен, и что *срочно* необходимо заменить его порядком вещей, основанным на возвышенных истинах вечной религии нашего Спасителя»<sup>88</sup>.

Австрийский император шутил, что недоумевал, где стоит обсуждать эти идеи: на совете министров или в исповедальне. Но он также знал, что не может ни присоединиться к крестовому походу царя, ни отвергнуть его, дав тем самым Александру повод действовать в одиночку, оставляя Австрию без союзников лицом к лицу с либеральными и национальными течениями того времени. Именно по этой причине Меттерних трансформировал проект царя в то, что стало известно как Священный союз, в котором религиозный фактор трактовался как обязательство поставивших подпись под договором сохранять внутренний статус-кво в Европе. Впервые в современной истории европейские державы взяли на себя общую миссию.

Ни один британский государственный деятель никогда бы не позволил себе ввязаться в дело, устанавливающее общее право – фактически обязательство – вмешиваться во внутренние дела других государств. Каслри назвал Священный союз «произведением возвышенного мистицизма и полной бессмыслицы»<sup>89</sup>. Меттерних, однако, увидел в нем возможность обязать царя опираться на законное правление и, что самое главное, удерживать его от одностороннего бурного миссионерского экспериментирования без каких-либо сдерживающих элементов. Священный союз объединил консервативных монархов в борьбе с революцией, но он также обязал их действовать согласованно и совместно, что реально давало Австрии теоретическое право вето в отношении авантюры готового все удушить русского союзника. Так называемый «Европейский концерт» предполагал, что сопоставимые по своему уровню страны решали бы вопросы, касающиеся всеобщей стабильности, на основе консенсуса.

Священный союз явился наиболее своеобразным аспектом венского урегулирования. Его возвышенное название отвлекало внимание от его реального значения, заключавшегося в приращении некоего элемента нравственного ограничения во взаимоотношения великих держав. Проявленная ими кровная заинтересованность в сохранении своих внутренних институтов заставила континент избегать конфликтов, на которые в предыдущем столетии они бы пошли как на само собой разумеющееся дело.

Было бы большим упрощением, однако, утверждать, что наличие сравнимых внутренних институтов гарантирует само по себе мирный баланс сил. В XVIII веке все правители стран континента управляли в силу божественного права – их внутренние институты были весьма и весьма сопоставимы. И тем не менее эти самые правители руководствовались чувством полной уверенности в своем постоянном существовании и вели бесконечные войны друг с другом как раз именно потому, что считали свои внутренние структуры неприкасаемыми.

Вудро Вильсон был не первым, кто считал, что природа внутренних институтов определяет поведение государства в международном плане. Меттерних полагал то же самое, однако он исходил из абсолютно противоположных по характеру и содержанию доводов. В то время как Вильсон считал демократии миролюбивыми и рациональными в силу самой своей природы, Меттерних называл их опасными и непредсказуемыми. Видя страдания, которые республиканская Франция принесла Европе, Меттерних отождествлял мир с законным правлением.

---

<sup>88</sup> Wilhelm Schwarz. *Die Heilige Allianz* (Шварц Вильгельм. *Священный союз*). (Stuttgart, 1935), p. 52ff.

<sup>89</sup> Цитируется в: Asa Briggs. *The Age of Improvement 1783–1867* (Бриггс Аса. *Эпоха прогрессивных свершений. 1783–1867*). (London: Longmans, 1959), p. 345.

Он ожидал, что коронованные главы древних династий если и не удержат мир, то, по крайней мере, сохранят базовую структуру международных отношений. Таким образом, легитимность становилась цементом, скрепляющим здание международного порядка.

Разница между подходами Вильсона и Меттерниха к вопросам внутренней справедливости и международного порядка играет главную роль в понимании противоположных друг другу воззрений Америки и Европы. Вильсон ратовал за принципы, воспринимаемые им как революционные и новые. Меттерних стремился проводить в жизнь те ценности, которые он считал древними. Вильсон, возглавляя страну, сознательно созданную для того, чтобы сделать человека свободным, был убежден в том, что демократические ценности могут быть законодательно закреплены и реализованы в совершенно новых структурах по всему миру. Меттерних, будучи представителем старой страны, чьи институты развивались постепенно, почти незаметно, сомневался в том, что права могут быть созданы посредством законодательства. «Права», по Меттерниху, просто существовали в природе вещей. Были ли они закреплены законом или конституцией, это сугубо технический вопрос, не имеющий никакого отношения к достижению свободы. Меттерних считал гарантирование прав парадоксом: «Вещи, которые следует воспринимать как само собой разумеющиеся, теряют свою силу, когда они проявляются в форме произвольных заявлений. ... Ошибочное превращение объектов в субъекты законотворчества ведет к ограничению, если не к полному аннулированию того, что пытались сохранить»<sup>90</sup>.

Некоторые из афоризмов Меттерниха представляли собой своекорыстное логическое объяснение сущности установившейся в Австрийской империи практики, которая была не в состоянии приспособиться к рождающемуся новому миру. Но Меттерних также был носителем рационалистского убеждения в том, что законы и права существуют в природе сами по себе, а не в силу какого-либо постановления или распоряжения. Опыт его сформировался во времена Французской революции, которая началась с провозглашения прав человека, а кончилась царством террора. Национальный опыт, породивший Вильсона, носил гораздо более мягкий характер, и за 15 лет до возникновения современного тоталитаризма этот человек не мог даже представить себе, какие aberrации, своего рода отклонения от нормы, в состоянии таить в себе всенародное волеизъявление.

После окончания Венского конгресса Меттерних сыграл решающую роль в управлении международной системой и толковании требований Священного союза. Меттерних был вынужден взять на себя эту роль, поскольку Австрия была в центре всех передраг в Европе, а ее внутренние институты все меньше и меньше соответствовали национальным и либеральным тенденциям века. Пруссия грозила позициям Австрии в Германии, а Россия нависла над славянским населением на Балканах. И все это время существовала Франция, готовая потребовать обратно то, что приобрел Ришелье в Центральной Европе. Меттерних знал, что, если дать возможность этим опасностям перерасти в реальные испытания на прочность, Австрия истощила бы себя, независимо от исхода каждого отдельного конфликта. В силу этого его политика состояла в том, чтобы избегать кризисов путем создания морального консенсуса и уклоняться от тех из них, которых невозможно избежать. При этом оказывать негласную поддержку любой стране, пожелавшей взять на себя основной удар конфронтации, – Великобританию против Франции в Нидерландах, Великобританию и Францию против России на Балканах, более мелкие государства против Пруссии в Германии.

Исключительный дипломатический талант Меттерниха позволил ему транслировать хорошо знакомые дипломатические истины в практические действия внешнеполитического характера. Ему удалось убедить двух ближайших союзников Австрии, каждый из которых

---

<sup>90</sup> Klemens Metternich. *Aus Metternich's Nachgelassenen Papieren* (Меттерних Клеменс. *Избранное документальное наследие*). 8 vols., edited by Alfons von Klinkowstroem (Vienna, 1880), vol. VIII, p. 557.

представлял геополитическую угрозу для Австрийской империи, в том, что идеологическая опасность от революции перевешивает их стратегические возможности. Если бы Пруссия попыталась играть на германском национализме, она могла бы бросить вызов австрийскому преобладанию в Германии еще на поколение ранее прихода Бисмарка. Если бы цари Александр I и Николай I учитывали только геополитические возможности России, они бы гораздо решительнее воспользовались развалом Оттоманской империи, подвергая опасности Австрию, – как поступят их преемники позднее в том же столетии. Обе страны воздерживались от использования своих преимуществ, поскольку это противоречило бы главному принципу поддержания *статус-кво*. Австрия, которая, казалось, после ударов Наполеона была на смертном одре, получила новую жизнь в лице системы Меттерниха, что позволило ей просуществовать еще сотню лет.

Человек, спасший эту устаревшую империю и руководивший ее политикой почти 50 лет, впервые посетил Австрию лишь в возрасте 13 лет, а постоянно поселился там только в 17 лет<sup>91</sup>. Отец князя Клеменса Меттерниха был генерал-губернатором Рейнской области, являвшейся тогда владением Габсбургов. Будучи космополитом по своему характеру, Меттерних всегда с большей охотой говорил по-французски, чем по-немецки. «Теперь уже в течение длительного времени, – писал он Веллингтону в 1824 году, – роль отчизны (*patrie*) играет для меня Европа»<sup>92</sup>. Его противники из числа современников высмеивали его добродетельные изречения и безукоризненные эпиграммы. Зато Вольтер и Кант поняли бы его взгляды. Продукт рационализма эпохи Просвещения, он оказался заброшенным в самую гущу революционной борьбы, чуждой его темпераменту, и стал главным министром находящегося в осадном положении государства, устройство которого он не мог усовершенствовать.

Трезвость духа и умеренность целей были в стиле Меттерниха: «Будучи мало зависимы от абстрактных идей, мы принимаем вещи такими, какие они есть, и пытаемся изо всех наших сил защитить себя от заблуждений по поводу реальностей жизни»<sup>93</sup>. А «фразами, которые при ближайшем рассмотрении рассеиваются, как дым, типа защиты цивилизации, нельзя определить что-либо материально ощущаемое»<sup>94</sup>.

Применяя подобный подход, Меттерних стремился не поддаваться сиюминутным эмоциям. Как только Наполеон был разбит в России, и еще до того как русские войска добрались до Центральной Европы, Меттерних уже определил Россию как долгосрочную потенциальную угрозу. И в то время, когда соседи Австрии сосредоточивали все усилия на освобождении от французского правления, он поставил участие Австрии в антинаполеоновской коалиции в зависимость от разработки таких целей войны, которые отвечали бы интересам выживания разваливающейся империи. Подход Меттерниха был полной противоположностью позиции, занятой демократиями во время Второй мировой войны, когда они оказались в аналогичных обстоятельствах, оставшись визави с Советским Союзом. Подобно Каслри и Питту, Меттерних верил, что сильная Центральная Европа является предпосылкой европейской стабильности. Будучи преисполненным решимости избежать по мере возможности пробы силой, Меттерних был озабочен тем, чтобы делать двойное дело: как придерживаться стиля посредничества, так и накапливать изначальную силу:

<sup>91</sup> Материал на этих страницах был в свое время приведен автором в: *A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 1812–1822 (Возрожденный мир: Меттерних, Каслри и проблемы сохранения мира. 1812–1822 годы)*. (Boston: Houghton Mifflin, 1973 Sentry Edition).

<sup>92</sup> Цитируется в: *Там же*. С. 321.

<sup>93</sup> Цитируется в: Wilhelm Oncken. *Osterreich und Preussen im Befreiungskriege* (Онкен Вильгельм. *Австрия и Пруссия во время Освободительной войны*). 2 vols. (Berlin, 1880), vol. II, p. 630ff.

<sup>94</sup> Меттерних. *Документальное наследие*. Т. VIII. С. 365.

«Подход (европейских) держав отличается друг от друга в зависимости от их географического положения. Франция и Россия имеют всего лишь по одной пограничной линии, и это делает их практически неуязвимыми. Рейн с тройной линией крепостей обеспечивает покой... Франции; жуткий климат... делает Неман не менее безопасной границей для России. Австрия и Пруссия оказываются со всех сторон незащищенными от нападения соседних держав. Находясь под постоянной угрозой господства со стороны этих двух держав, Австрия и Пруссия могут найти спокойствие лишь в мудрой и тщательно продуманной политике и в добрых отношениях друг с другом и со своими соседями...»<sup>95</sup>

Хотя Австрия нуждалась в России как в страховке от Франции, она всегда с опаской относилась к своему импульсивному союзнику, а особенно за склонность царя брать на себя миссию борца за святое дело. Талейран говорил о царе Александре I, что недаром он был сыном безумного царя Павла I. Меттерних описывал Александра, как «странное сочетание мужских достоинств и женских слабостей. Слишком слаб для истинного честолюбия, но слишком силен для чистого тщеславия»<sup>96</sup>.

Для Меттерниха проблема, которую несла Россия, состояла не столько в том, чтобы как-то сдержать ее агрессивность – такая попытка истощила бы Австрию, – сколько в том, как умерить амбиции России. «Александр желает мира всему миру, – докладывал австрийский дипломат, – но не ради мира как такового и всех благ от него, а скорее ради самого себя; и не безоговорочно, но с некими задними мыслями на уме. Он должен оставаться борцом за этот мир; от него должны исходить покой и счастье всего мира, и вся Европа должна признавать, что этот ее покой – дело его рук, что он зависит от его доброй воли и может быть нарушен по его прихоти...»<sup>97</sup>

Каслри и Меттерних по-разному относились к тому, как именно следует сдерживать чересчур деятельную и сующую свой нос в чужие дела Россию. Будучи министром иностранных дел островной державы, удаленной от сцены конфронтации, Каслри был готов к отражению лишь открытых нападков, да и в таком случае эти нападки должны были бы нарушать равновесие. С другой стороны, страна Меттерниха располагалась в самом центре континента и не могла позволить себе идти на риски. И именно потому, что Меттерних не доверял Александру, он делал все, чтобы находиться в максимально тесном контакте с ним, и сосредоточивал все усилия на том, чтобы не допускать даже попытки возникновения угроз со своей стороны. «Если выстрелит хотя бы одна пушка, – писал он, – Александр сбежит от нас во главе своей свиты, и тогда не будет никаких ограничений тому, что он будет считать своими божественно ниспосланными правами»<sup>98</sup>.

Чтобы ослабить рвение Александра, Меттерних осуществил двухвекторную стратегию. Под его руководством Австрия находилась в авангарде борьбы с национализмом, хотя он был непреклонен и не допускал, чтобы Австрия слишком сильно раскрывалась или ввязывалась в односторонние действия. Еще менее он был настроен поощрять самостоятельные действия других, отчасти из опасения того, чтобы миссионерское рвение России не превратилось в экспансионизм. Для Меттерниха умеренность была философской добродетелью и практической необходимостью. В своих инструкциях одному из австрийских послов он как-то писал: «Гораздо важнее свести на нет претензии других, чем настаивать на наших собственных. ... Мы приобретем тем больше, чем меньше мы будем запрашивать»<sup>99</sup>. Как только представля-

---

<sup>95</sup> Цитируется в: Онкен. *Австрия и Пруссия*. Т. I. С. 439 и сл.

<sup>96</sup> Меттерних. *Документальное наследие*. Т. I. С. 316 и сл.

<sup>97</sup> Цитируется в: Николай Михайлович, великий князь. *Донесения австрийского посланника при русском дворе Лебцельтерна за 1816–1826 годы*. Санкт-Петербург, 1913. С. 37 и сл.

<sup>98</sup> Цитируется в: Шварц. *Священный союз*. С. 234.

<sup>99</sup> Цитируется в: Alfred Stern. *Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871* (Штерн

лась возможность, он пытался умерять крестовые планы царя, вовлекая его в длительные по времени консультации и ограничивая его тем, что было терпимо с точки зрения европейского консенсуса.

Вторым направлением стратегии Меттерниха было консервативное единство. Как только то или иное действие становилось неизбежным, Меттерних принимался за свое манипулирование, которое он когда-то описал следующим образом: «Австрия рассматривает все с точки зрения *существа* дела. России превыше всего нужна *форма*. Британия желает *существа* дела вне всякой формы. ...Перед нами стоит задача сведения воедино *невозможностей* Британии с *образом действий* России»<sup>100</sup>. Ловкость Меттерниха позволила Австрии в течение целого поколения осуществлять контроль над ходом событий, превратив Россию, страну, которую он боялся, в партнера на основе единства консервативных интересов, а Великобританию, которой он доверял, в последнее прибежище для противодействия вызовам в отношении баланса сил. Неизбежный исход, однако, был попросту отсрочен. И все-таки сохранение отживающего свой век государства на основе ценностей, несовместимых с господствующими тенденциями, охватившими весь мир вокруг, и продление ему жизни на целое столетие само по себе является немалым достижением.

Дилемма Меттерниха заключалась в том, что чем больше он сближался с царем, тем больше он рисковал своими британскими связями; а чем больше он ими рисковал, тем ближе он *вынужден был* двигаться к царю, чтобы избежать изоляции. Идеальной комбинацией для Меттерниха была бы британская поддержка в деле сохранения территориального баланса и русская поддержка для подавления внутренних волнений, – Четверной союз 1815 года нужен для геополитической безопасности, а Священный союз для внутренней стабильности.

Но по мере того как память о Наполеоне со временем сглаживалась, сохранять такую комбинацию становилось все труднее. Чем больше союзы приобретали форму системы коллективной безопасности и европейского правительства, тем больше Великобритания считала своей обязанностью от них отмежеваться. А чем больше Великобритания отмежевалась, тем более зависимой от России становилась Австрия, и, соответственно, тем рьянее она отстаивала консервативные ценности. Создавался порочный круг, который нельзя было разорвать.

Как бы ни сочувствовал Каслри в связи с проблемами Австрии, он был неспособен заставить Великобританию устранять потенциальные опасности, когда она боролась с реальными. «Когда нарушен территориальный баланс в Европе, – оправдывался Каслри, – она (Британия) может эффективно вмешаться, но ее правительство будет последним в Европе, от которого можно будет ожидать или которое пойдет на риск связать себя по любому вопросу абстрактного характера. ...Мы окажемся на своем месте, когда европейской системе будет угрожать реальная опасность; однако наша страна не может, да и не будет действовать из-за абстрактных и умозрительных принципов предосторожности»...<sup>101</sup> И все же нужда заставляла Меттерниха считать практически существующим то, что Великобритания полагала абстрактным и надуманным. Здесь был корень проблемы. Внутренние неурядицы оказались той самой опасностью, с которой Австрия меньше всего была в состоянии справиться.

Для смягчения принципиальных расхождений Каслри предложил проводить периодические встречи, или конгрессы, министров иностранных дел для совместного рассмотрения положения дел в Европе. То, что стало известно как система конгрессов, имело цель сформировать

---

Альфред. *История Европы от договоров 1815 года до Франкфуртского мира 1871 года*. 10 vols. (Munich – Berlin, 1913–24), vol. I, p. 298.

<sup>100</sup> Цитируется в: Hans Smalz. *Versuche einer Gesamteuropaischen Organisation, 1815–1820* (Шмальц Ханс. *Очерки изучения общеевропейских организаций, 1815–1820*). (Bern, 1940), p. 66.

<sup>101</sup> Lord Castlereagh's. Confidential State Paper, May 5, 1820 (Каслри, лорд. Секретный дипломатический документ от 5 мая 1820 года), в: Sir A. W. Ward and G. P. Gooch, eds., *The Cambridge History of British Foreign Policy, 1783–1919* (Кембриджская история британской внешней политики, 1783–1919). (New York: Macmillan, 1923), vol. II (1815–66), p. 632.

ровать консенсус по стоящим перед Европой важнейшим вопросам и проложить путь для их решения на многосторонней основе. Великобритании, однако, не устраивала система европейского правительства, поскольку тут было недалеко и до объединенной Европы, против которой британцы выступали постоянно. Даже если оставить в стороне традиционную британскую политику, ни одно британское правительство не брало на себя постоянное обязательство анализировать события по мере их возникновения, не сталкиваясь ни с какой бы то ни было конкретной угрозой. Участие в европейском правительстве было не более привлекательным для британского общественного мнения, чем участие американцев в Лиге Наций через 100 лет, причем и по преимуществу по одним и тем же причинам.

Британский кабинет поставил совершенно очевидные условия еще перед самой первой из подобных конференций – Ахенским конгрессом<sup>102</sup> 1818 года. Каслри был направлен туда с чрезвычайно сдержанными инструкциями: «Мы одобряем [общую декларацию] по этому случаю и, хотя с большими трудностями, заверяем [второстепенные державы] в том, что... периодические встречи... должны быть посвящены одному... предмету или даже... одной державе, Франции. И никакого участия во вмешательстве в какой бы то ни было форме, в какой международное право не оправдывает вмешательства. ...Наша истинная политика всегда заключалась в том, чтобы не вмешиваться в чужие дела, за исключением чрезвычайных ситуаций и в тех случаях только во главе вооруженных сил»<sup>103</sup>. Великобритания хотела, чтобы за Францией был осуществлен контроль, но, кроме всего прочего, в Лондоне господствовал двойной страх: перед «континентальными завязками» и объединенной Европой.

Имел место всего лишь один случай, когда Великобритания считала, что дипломатия конгрессов совпадает с ее целями. Во время Греческой революции 1821 года Англия усмотрела в желании царя защитить христианское население разваливающейся Османской империи первую стадию попытки России завоевать Египет. Когда на карту ставятся британские стратегические интересы, Каслри без колебаний обратился к царю во имя того самого союзнического единства, которое он до того времени хотел ограничить вопросами сдерживания Франции. Характерно, что он выработал критерий разграничения между теоретическими и практическими вопросами: «Вопрос Турции носит совершенно иной характер, и он принадлежит к числу тех, которые у нас в Англии рассматриваются не в теоретическом, а в практическом плане...»<sup>104</sup>

Но обращение Каслри к Союзу стало, прежде всего, подтверждением присущей ему непрочности. Союз, в котором один из партнеров трактует собственные стратегические интересы как единственный практически значимый вопрос, не является дополнительным гарантом безопасности для своих членов. Поскольку он не берет на себя никаких обязательств сверх тех, которые бы и так возникли вследствие учета национального интереса. Меттерних, без сомнения, утешался мыслью о том, что лично Каслри, безусловно, относился с симпатией к его целям и вообще к системе конгрессов. Каслри, как говорил один из австрийских дипломатов, был «похож на большого любителя музыки, находящегося в церкви; он хочет зааплодировать, но не смеет это сделать»<sup>105</sup>. Но если даже наиболее европейски ориентированный из числа британских государственных деятелей человек не рискует аплодировать тому, во что верит, то роль Великобритании в «Европейском концерте» была predeterminedена как преходящая и неэффективная.

<sup>102</sup> Иногда называют конгресс Экс-ла-Шапель, по французскому названию города Ахен, расположенного в Германии на стыке границ Германии, Бельгии и Нидерландов. – *Прим. перев.*

<sup>103</sup> Viscount Castlereagh. *Correspondence, Dispatches and Other Papers*, 12 vols., (Каслри, виконт. *Переписка, депеш и прочие документы в 12 т., изданных его братом маркизом Лондондерри*). (London, 1848–52), vol. XII, p. 394.

<sup>104</sup> Цитируется в: Sir Charles Webster. *The Foreign Policy of Castlereagh* (Вебстер Чарлз, сэр. *Внешняя политика Каслри*). 2 vols. (London, 1925 and 1931), vol. II, p. 366.

<sup>105</sup> Цитируется в: Бриггс. *Эпоха прогрессивных свершений*. С. 346.

Примерно так же столетием позднее обстояло дело с Вильсоном и его Лигой Наций. Усилия Каслри, направленные на то, чтобы убедить Великобританию принять участие в системе европейских конгрессов, зашли намного дальше того, что могли выдержать английские представительные институты как с философской, так и со стратегической точек зрения. Каслри был убежден, как был бы и Вильсон, в том, что опасность новой агрессии успешнее всего можно избежать в том случае, если его страна присоединится к какому-нибудь постоянному европейскому форуму, который имел дело с угрозами, прежде чем они превратятся в кризисы. Он понимал Европу лучше многих своих британских современников и знал, что вновь обретенный баланс потребует к себе пристального внимания. Он полагал, что выработал решение, которое Великобритания могла бы поддержать, поскольку оно не шло далее участия в серии дискуссионных встреч министров иностранных дел четырех стран-победительниц и не носило обязательственного характера.

Но даже дискуссионные встречи отдавали слишком сильно идеей европейского правительства на вкус британского кабинета. И получилось, что система конгрессов не взяла даже первого барьера: когда Каслри присутствовал на первой конференции в Ахене в 1818 году, Франция была принята в систему конгрессов, а Англия из нее вышла. Кабинет не дал Каслри разрешения присутствовать на последующих европейских конгрессах, которые соответственно состоялись в 1820 году в Троппау, в 1821 году в Лайбахе и в 1822 году в Вероне. Великобритания отошла в сторону от той самой системы конгрессов, которую задумал ее же собственный министр иностранных дел. Точно так же столетием позднее Соединенные Штаты дистанцируются от Лиги Наций, предложенной их же президентом. В каждом из этих случаев попытка лидера наиболее могущественной страны создать общую систему коллективной безопасности не увенчалась успехом вследствие внутренних предубеждений и исторических традиций.

Как Вильсон, так и Каслри считали, что международный порядок, установленный после катастрофической войны, может быть защищен при активном участии всех ведущих членов международного сообщества и особенно их собственных стран. Для Каслри и Вильсона безопасность была коллективной; если хоть одна нация подвергалась нападению, то в итоге жертвами оказывались бы все. Если безопасность воспринимается, таким образом, всеми как безупречная, то у всех государств появляется общий интерес в том, чтобы давать отпор агрессии, и даже больше того – интерес в том, чтобы не допустить ее. С точки зрения Каслри, Великобритания, независимо от ее взглядов по конкретным вопросам, была по-настоящему заинтересована в сохранении всеобщего мира и в поддержании баланса сил. Как и Вильсон, Каслри полагал, что лучшим способом отстаивания такого интереса является принятие участия в формировании решений, влияющих на международный порядок, и в организации отпора нарушениям мира.

Слабость системы коллективной безопасности заключается в том, что интересы редко бывают одинаковыми, а безопасность редко бывает безупречной. Члены общей системы коллективной безопасности в силу этого скорее согласятся с бездействием, чем договорятся о совместных действиях; их либо будут удерживать вместе красивыми общеполитическими призывами, либо они станут свидетелями отступничества самого мощного из членов, который чувствует себя наиболее защищенным и посему менее всего нуждающимся в этой системе. Ни Вильсон, ни Каслри не смогли вовлечь свои страны в систему коллективной безопасности, потому что соответствующие общества не ощущали предвидимой угрозы и считали, что смогут с ней справиться самостоятельно или, в случае необходимости, найти союзников в последний момент. Для них участие в Лиге Наций или в системе европейских конгрессов представлялось риском, при котором безопасность отнюдь не повышалась.

Однако существует огромное различие между этими двумя англосаксонскими государственными деятелями. Каслри диссонировал не только со своими современниками, но и в целом с главной линией тогдашней британской внешней политики. Он не оставил после себя

никакого наследия; ни один из британских государственных деятелей не использовал Каслри в качестве примера для подражания. Вильсон же не только черпал свои идеи из неистощимого источника американской мотивации, но и поднялся в этом деле на новую и более высокую ступень. Все его преемники были до какой-то степени вильсонянцами, и вся последующая американская внешняя политика формировалась под влиянием изложенных им принципов.

Лорд Стюарт, британский «наблюдатель», которому было позволено присутствовать на различных европейских конгрессах, сводный брат Каслри, потратил значительную часть своей энергии, определяя пределы участия Великобритании, а не вклад ее в европейский консенсус. В Троппау он представил меморандум, подтверждавший право на самооборону, но настаивавший на том, что Великобритания «не возьмет на себя, как член Союза, моральную ответственность за учреждение общеевропейской полиции»<sup>106</sup>. На конгрессе в Лайбахе лорд Стюарт должен был подтвердить, что Великобритания никогда не окажется связанной обязательствами, направленными против «необоснованных» опасностей. Сам Каслри изложил британскую позицию в дипломатическом документе от 5 мая 1820 года. Четверной союз, как утверждал он, был учрежден для «освобождения значительной доли европейского континента от военного господства Франции. ...Его, однако, никогда не предполагали превратить в Союз для создания мирового правительства или ведомство, надзирающее за внутренними делами других государств»<sup>107</sup>.

В итоге Каслри оказался в западне между собственными убеждениями и внутривнутриполитическими требованиями. Он не видел выхода из этой неприятной ситуации. «Сир, – заявил Каслри на последней встрече с королем, – необходимо распрощаться с Европой; только Вы и я знаем ее и спасли ее; никто, кроме меня, не поймет дел на континенте»<sup>108</sup>. Четыре дня спустя он совершил самоубийство.

По мере роста зависимости Австрии от России перед Меттернихом вставал вызывающий крайнее недоумение вопрос о том, как долго его призыв к консервативным принципам царя сможет удержать Россию от использования своих возможностей на Балканах и на периферии Европы. Оказалось, что этот срок составил почти три десятилетия, в течение которых Меттерних занимался революциями в Неаполе, Испании и Греции, при этом эффективно поддерживая европейский консенсус и предотвращая русскую интервенцию на Балканах.

Но Восточный вопрос не исчез сам собой. По существу, он явился результатом борьбы за независимость на Балканах, когда различные народности пытались освободиться от турецкого владычества. Вызов этим самым системе Меттерниха заключался в том, что он вступал в противоречие с обязательством той системы сохранять статус-кво и что движения за независимость, направленные на тот день против Турции, завтра уже будут нацелены на Австрию. Более того, царь, наиболее преданный идее легитимизма, был тоже более всего готов совершить интервенцию, и никто – уж, конечно, ни в Лондоне, ни в Вене – не верил, что он способен сохранить статус-кво после того, как его армии отправятся в поход.

На какое-то время общая заинтересованность смягчить удар от распада Османской империи способствовала продолжению теплых отношений между Великобританией и Австрией. Как бы мало для англичан ни значили конкретные балканские проблемы, продвижение русских к проливам воспринималось как угроза британским интересам на Средиземном море и встречало твердое противодействие. Меттерних никогда лично не участвовал в британских усилиях противостоять русскому экспансионизму, хотя фактически приветствовал их. Его осторожная и, что самое главное, анонимная дипломатия – утверждение единства Европы, лезть по отношению к русским, обхаживание англичан – помогала Австрии сохранить

---

<sup>106</sup> Цитируется в: Вебстер. *Внешняя политика Каслри*. Т. II. С. 303 и сл.

<sup>107</sup> Каслри. Секретный дипломатический документ от 5 мая 1820 года, в: *Кембриджская история*. Т. II. С. 626–627.

<sup>108</sup> Цитируется в: Киссинджер. *Возрожденный мир*. С. 311.

как вариант союз с русскими, в то время как тяжкое бремя сдерживания русского экспансионизма было возложено на другие государства.

Устранение Меттерниха с политической сцены в 1848 году ознаменовало начало конца рискованных действий балансирования на проволоке, при помощи которых Австрия использовала единство консервативных интересов для сохранения достигнутого в Вене урегулирования. Совершенно очевидно, что легитимность не могла компенсировать до бесконечности неуклонное ухудшение геополитического положения Австрии или растущую несовместимость ее внутреннего государственного устройства и доминирующих национальных тенденций. Но нюанс как раз является сущностью искусства управления государством. Меттерних очень ловко справлялся с Восточным вопросом, однако его преемники, не сумев приспособить внутренние институты Австрии к требованиям времени, попытались, в порядке компенсации, привести австрийскую дипломатию в соответствие с нарождающейся тенденцией силовой политики, не сдерживаемой концепцией легитимности. Это должно было стать крахом существующего международного порядка.

Случилось так, что «Европейский концерт» окончательно раскололся вдребезги на накопавшие Восточного вопроса. В 1854 году впервые со времен Наполеона великие державы участвовали в войне. По иронии судьбы эта война, Крымская война, давно заклеянная историками как бессмысленное мероприятие, которое легко было предотвратить, была развязана не Россией, Великобританией или Австрией – странами, имевшими свой интерес в Восточном вопросе, – но Францией.

В 1852 году французский император Наполеон III, только что пришедший к власти в результате переворота, убедил турецкого султана даровать ему титул «защитника христиан Оттоманской империи», то есть признать за ним ту роль, которую русский царь традиционно считал своей. Николай I был в ярости от того, что Наполеон, которого он считал незаконным выскочкой, осмелился занять место России в качестве защитника балканских славян, и потребовал равного статуса с Францией. Когда султан наотрез отказал русскому эмиссару, Россия разорвала с Турцией дипломатические отношения. Лорд Пальмерстон, формировавший британскую внешнюю политику середины XIX века, болезненно подозрительно относился к России и настоял на отправке Королевского военно-морского флота в бухту Бесика у выхода из Дарданелл. Царь же продолжал действовать в духе системы Меттерниха. «Вы четверо, – заявил он, обращаясь к великим державам, – могли бы диктовать мне, но такого никогда не случится. Я могу рассчитывать на Берлин и Вену»<sup>109</sup>. Чтобы показать полнейшее пренебрежение, Николай распорядился оккупировать княжества Молдавию и Валахию (современную Румынию).

Австрия, которая теряла больше всех в этой войне, предложила вполне очевидное решение: Франция и Россия выступают союзниками оттоманских христиан. Пальмерстона не устраивал никакой вариант. В целях усиления переговорных позиций Великобритании он направил Королевский военно-морской флот к самому входу в Черное море. Это подтолкнуло Турцию на объявление войны России. Великобритания и Франция поддержали Турцию.

Настоящие причины войны, однако, лежали гораздо глубже. Религиозные претензии были на самом деле предлогом для осуществления замыслов политического и стратегического характера. Николай добивался воплощения в жизнь давней русской мечты заполучить Константинополь и проливы. Наполеон III увидел перед собой возможность покончить с изоляцией Франции и разрушить Священный союз путем ослабления России. Пальмерстон искал какой-то предлог, чтобы прекратить раз и навсегда продвижение России к проливам. Как только началась война, британские боевые корабли вошли в Черное море и стали уничтожать русский

---

<sup>109</sup> Цитируется в: А. J. P. Taylor, *The Struggle for Mastery in Europe 1848–1918* (Тэйлор Э. Дж. П. *Борьба за главенство в Европе: 1848–1918*). (Oxford: Oxford University Press, 1955), p. 54.

Черноморский флот. Англо-французские войска высадились в Крыму, чтобы захватить русскую военно-морскую базу Севастополь.

Эти события для австрийских руководителей означали только одни сложности. Они придавали значение традиционной дружбе с Россией, опасаясь при этом того, что продвижение русских на Балканы может вызвать беспокойство среди славянского населения Австрии. Но их пугало и то, что выступление на стороне своего старого друга России в Крыму даст Франции предлог напасть на итальянские территории Австрии.

Вначале Австрия объявила нейтралитет, что было разумным шагом. Однако новый министр иностранных дел Австрии граф Буоль решил, что бездействие только действует на нервы, а французская угроза австрийским владениям в Италии выбивает из колеи. В то время как британская и французская армии осаждали Севастополь, Австрия предъявила царю ультиматум с требованием ухода России из Молдавии и Валахии. Это и стало решающим фактором окончания Крымской войны – по крайней мере, так с того времени посчитали правители России.

Австрия отвергла Николая I и непоколебимую дружбу с Россией, восходившую к временам Наполеоновских войн. Граничащая с паникой безответственность заставила преемников Меттерниха отбросить наследие консервативного единения, которое собиралось по крупицам так тщательно, а временами так болезненно на протяжении жизни целого поколения. На этот раз Австрия отказалась от пут общих ценностей, а это также позволило России вести свою собственную политику, исходя исключительно из геополитических выгод. Следуя подобным курсом, Россия была обязана столкнуться с Австрией по поводу будущего Балкан и со временем попытаться подорвать Австрийскую империю.

Причина, по которой венское урегулирование работало в течение 50 лет, заключалась в том, что три восточные державы – Пруссия, Россия и Австрия – в своем единстве видели существенную преграду революционному хаосу и французскому господству в Европе. Но во время Крымской войны Австрия («палата пэров Европы», как назвал ее Талейран) своими маневрами вовлекла себя в неудобный союз с Наполеоном III, жаждущим подорвать позиции Австрии в Италии, и Великобританией, не желавшей ввязываться в европейские дела. Тем самым Австрия дала России и Пруссии, своим корыстолюбивым в прошлом партнерам по Священному союзу, свободу преследования в чистом виде собственных национальных интересов. Пруссия заплатила свою цену, вынудив Австрию убраться из Германии, в то время как растущая враждебность России на Балканах превратилась в один из спусковых крючков Первой мировой войны и привела к окончательному развалу Австрии.

Оказавшись лицом к лицу с реалиями силовой политики, Австрия не смогла осознать, что ее спасение лежит в общеевропейской приверженности легитимизму. Концепция единства консервативных интересов уже перешагнула национальные границы и в силу этого получила тенденцию смягчить столкновения силовой политики. Национализм производил противоположный эффект, ставя на первое место национальный интерес, усиливая соперничество и увеличивая риски для всех. Австрия вовлекла себя в соперничество, в котором, с учетом всех ее уязвимых мест, она никак не могла одержать верх.

Через пять лет после окончания Крымской войны итальянский националистический лидер Камилло Кавур начал процесс изгнания Австрии из Италии, спровоцировав войну с Австрией. Он опирался на союз с Францией и молчаливое согласие России, причем и то, и другое прежде казалось бы невероятным. Пройдет еще пять лет, и Бисмарк разобьет Австрию в войне за господство в Германии. И вновь Россия стояла в сторонке, а Франция сделала то же самое, хотя и нехотя. Во времена Меттерниха «Европейский концерт» провел бы консультации по вопросу и проконтролировал бы все эти волнения. Теперь же дипломатия стала полагаться больше на неприкрытую силу, чем на общность ценностей. Мир сохранялся еще 50 лет. Но с каждым десятилетием напряженность нарастала и увеличивалась гонка вооружений.

Великобритания действовала совершенно по-иному в рамках международной системы, основанной на силовой политике. С одной стороны, она никогда не полагалась в отношении собственной безопасности на систему конгрессов; для Великобритании новый характер международных отношений больше представлял собой обычное дело. На протяжении XIX века Великобритания стала ведущей страной Европы. Совершенно очевидно, что она была достаточно сильна, чтобы держаться в одиночку, и имела преимущество в виде географической изоляции и отгороженности от внутренних беспорядков на континенте. Но у нее также было преимущество в стабильных руководителях, демонстрировавших без каких-либо сантиментов приверженность национальному интересу.

Преемники Каслри не понимали континент так хорошо, как он. Но они яснее ухватывали сущность британского национального интереса и добивались его воплощения в жизнь с исключительным мастерством и настойчивостью. Джордж Каннинг, непосредственный преемник Каслри, поторопился оборвать последние немногочисленные нити, посредством которых Каслри осуществлял свое влияние, пусть даже слабоватое, на систему европейских конгрессов. В 1821 году, за год до того, как занять место Каслри, Каннинг потребовал проведения политики «нейтралитета словом и делом»<sup>110</sup>. «Давайте, – заявлял он, – предположим в безрассудном духе романтизма, что только мы одни способны возродить Европу»<sup>111</sup>. Впоследствии, став министром иностранных дел, он не оставил ни малейших сомнений в том, что его ведущим принципом является осуществление национального интереса, который, по его же мнению, был несовместим с постоянной вовлеченностью в дела в Европе: «...при той тесной связи, какая у нас существует с системой в Европе, вовсе не вытекает, что мы теперь призваны с безустанной активностью и по любому поводу вмешиваться в дела и заботы окружающих нас стран»<sup>112</sup>.

Иными словами, Великобритания оставляла за собой право следовать своим собственным курсом в соответствии с характером каждого конкретного случая и руководствовалась только собственным национальным интересом. А это и есть фактически политика, при которой союзники являются либо пешками, либо вовсе несущественным элементом.

Пальмерстон в 1856 году так пояснил сущность британского национального интереса: «Когда меня спрашивают... что такое политика, ответ один, и он состоит в том, что мы намерены делать то, что нам кажется самым лучшим в каждой конкретной ситуации по мере ее возникновения. Интересы нашей страны должны при этом быть руководящим принципом любого человека»<sup>113</sup>. Через полвека официальное описание сути британской внешней политики не получило никаких больших уточнений, что отразилось в нижеследующем объяснении сэра Эдварда Грея, министра иностранных дел: «Британские министры иностранных дел руководствуются тем, что представляется им как непосредственный интерес нашей страны без каких-либо сложных калькуляций на будущее»<sup>114</sup>.

В большинстве других стран подобные заявления были бы высмеяны как тавтология: мы, дескать, делаем то, что является лучшим, потому что мы считаем это лучшим. В Великобритании они были сочтены проливающими свет; там не так уж часто требовалось определить смысл клише «национальный интерес». «У нас нет вечных союзников и постоянных противников», – говорил Пальмерстон. Великобритании не требовалось официальной стратегии,

<sup>110</sup> Каннинг, цитируется в: R. W. Seton-Watson, *Britain in Europe, 1789–1914* (Сетон-Уотсон Р. В. *Британия в Европе, 1789–1914 годы*). (Cambridge: Cambridge University Press, 1955), p. 74.

<sup>111</sup> Там же.

<sup>112</sup> Плимутская речь Каннинга 28 октября 1823 года. Там же. С. 119.

<sup>113</sup> Из письма Пальмерстона Кларендону от 20 июля 1856 года, цитируется в: Harold Temperley and Lillian M. Penson, *Foundations of British Foreign Policy from Pitt (1792) to Salisbury (1902)* (Темперли Гарольд и Пенсон Лилиан М. *Основы британской внешней политики от Питта (1792 год) до Солсбери (1902 год)*). (Cambridge: Cambridge University Press, 1938), p. 88.

<sup>114</sup> Грей Эдвард, сэр, в: Сетон-Уотсон. *Британия в Европе*. С. 1.

поскольку ее руководители понимали так здорово, будто чувствовали «нутром» британский интерес, что могли действовать непринужденно по мере возникновения определенной ситуации, будучи уверены в том, что общественность непременно пойдет за ними. Как сказал Пальмерстон: «Наши интересы вечны, и наш долг этим интересам следовать»<sup>115</sup>.

По всей вероятности, британские руководители со всей определенностью более всего давали понять, что именно они *не* готовы защищать, чем заранее определять некий *казус белли*. С еще большей сдержанностью они относились к заявлениям о наличии целей, возможно, в силу того, что их вполне устраивал статус-кво. Будучи убежденными в том, что всегда смогут распознать британский национальный интерес, когда они увидят его, британские руководители не видели потребности в их предварительной проработке. Они предпочитали ждать конкретных случаев – положение, невозможное для континентальных стран, поскольку они сами и были теми конкретными случаями.

Британский взгляд на безопасность был весьма сходным с взглядами американских изоляционистов, в этом плане Великобритания считала себя застрахованной от всего, за исключением пертурбаций катастрофического характера. Но Америка и Великобритания по-разному воспринимали взаимосвязь между миром и внутренним устройством. Британские руководители никоим образом не рассматривали распространение представительных институтов в качестве ключа к миру так, как это обычно делали их американские партнеры, и их вовсе не беспокоило существование институтов, отличающихся от их собственных.

Именно таким образом в 1841 году Пальмерстон разъяснял британскому послу в Санкт-Петербурге, чему Великобритания будет противодействовать силой оружия и почему она не будет противодействовать переменам сугубо внутреннего характера:

«Один из основных принципов, которому Правительство Ее Величества желает следовать в качестве руководящего в организации своих дел в сфере отношений между Англией и другими государствами, состоит в том, что любые перемены во внутренней конституции и форме правления, которые иностранные страны предпочтут предпринять, должны рассматриваться как дела, по которым у Великобритании нет причин вмешиваться силой оружия...»

Однако попытка одной страны захватить и присвоить себе территорию, принадлежащую другой стране, является совершенно иным делом, поскольку подобная попытка ведет к нарушению существующего баланса сил. А нарушение относительной мощи государств может быть чревато созданием опасности для других держав, и потому Британское правительство считает себя совершенно свободным подобной попытке противостать...»<sup>116</sup>

Все британские министры без исключения были превыше всего озабочены сохранением свободы действий для своей страны. В 1841 году Пальмерстон вновь подчеркнул отвращение Великобритании к абстрактным случаям: «...это непривычно для Англии принимать на себя обязательства по отношению к случаям, которых на самом деле не возникало или их возникновение не прогнозируется в ближайшей перспективе...»<sup>117</sup>

Почти через 30 лет после этого Гладстон выдвинул тот же самый принцип в письме королеве Виктории:

---

<sup>115</sup> Пальмерстон, в: Бриггс. *Эпоха прогрессивных свершений*. С. 352.

<sup>116</sup> Дешеша № 6 Пальмерстона маркизу Кланрикарду (послу в Санкт-Петербурге) от 11 января 1841 года, в: Темперли и Пенсон. *Основы внешней политики*. С. 136.

<sup>117</sup> Там же. С. 137.

«Англии следует держать полностью в собственных руках средства оценки своих обязательств, вытекающих из различных фактических состояний. Ей не следует ограничивать и сужать свободу выбора посредством деклараций, сделанных другим державам по поводу их реальных или предполагаемых интересов, в отношении которых они будут утверждать, что по меньшей мере являются-де членами общего пула толкователей...»<sup>118</sup>

Настаивая на свободе действий, британские государственные деятели, как правило, отвергали все вариации на тему коллективной безопасности. То, что потом стали называть политикой «блестящей изоляции», отражало убежденность Англии в том, что она больше потеряет, чем приобретет от вступления в союзы. Столь надменный подход могла себе позволить только страна, достаточно сильная, чтобы выступать самостоятельно, страна, не видящая для себя опасностей, для преодоления которых требуются союзники, страна, уверенная в том, что любая угрожающая ей крайность представляла бы собой еще большую угрозу для потенциальных союзников. Роль Великобритании как нации, поддерживающей европейское равновесие, давала ей все те преимущества, которые ее руководство желало бы иметь или в которых оно нуждалось. Эта политика имела все основания на проведение в жизнь потому, что она не предусматривала никаких территориальных приобретений в Европе. Англия могла тщательно отбирать европейские конфликты для своего вмешательства, поскольку ее единственным европейским интересом было равновесие (какими бы прожорливыми ни были британские аппетиты по отношению к заморским колониальным приобретениям).

Тем не менее политика «блестящей изоляции» Великобритании не препятствовала ее вступлению во временные группировки совместно с другими странами для разруливания особых ситуаций. Будучи морской державой, которая не обладала крупной постоянной армией, Великобритания время от времени вынуждена была кооперироваться с каким-нибудь континентальным союзником, которого она предпочитала выбирать только тогда, когда возникала конкретная необходимость. В таких случаях британские руководители могли показать себя на удивление невосприимчивыми к прошлым враждебным отношениям. В ходе отделения Бельгии от Голландии в 1830 году Пальмерстон сначала пригрозил Франции войной, если та попытается установить господство над новым государством, а потом, через несколько лет, предложил ей же союз, чтобы гарантировать независимость Бельгии: «Англия в одиночестве не в состоянии отстоять свои позиции на континенте; она должна иметь союзников в качестве инструментов для работы»<sup>119</sup>.

Разные «случайные» союзники Великобритании, разумеется, преследовали собственные цели, как правило, заключавшиеся в расширении сфер влияния или территориальных приобретениях в Европе. Когда они переходили за грань того, что Англия считала приемлемым, Англия переходила на другую сторону или организовывала новую коалицию против прежних союзников ради сохранения равновесия. Великобритания в силу своей лишенной всяких сантиментов настойчивости и эгоцентричной решимости заработала себе эпитет «Коварный Альбион». Дипломатия подобного рода, возможно, и не отражала особо возвышенного подхода к делам, но она сохраняла мир в Европе, особенно тогда, когда созданная Меттернихом система стала трещать по швам.

XIX век знаменовал апогей британского влияния. Великобритания была уверена в себе и имела на то полное право. Она являлась ведущей промышленной державой, а Королевский военно-морской флот господствовал на морях. В век внутренних потрясений британская внутренняя политика была на редкость спокойной. Когда дело доходило до крупных проблем

<sup>118</sup> Письмо Гладстона королеве Виктории, 17 апреля 1869 года, в: Harold Nicolson. *Diplomacy* (Николсон Гарольд. *Дипломатия*). (London: Oxford University Press, 1963), p. 137.

<sup>119</sup> Пальмерстон, в: Бриггс. *Эпоха прогрессивных свершений*. С. 357.

XIX века – интервенция или неучастие в интервенции, сохранение статус-кво или сотрудничество ради перемен, – британские руководители отказывались сковывать себя догмами. В войне за греческую независимость 1820-х годов Великобритания с симпатией относилась к стремлению Греции к независимости и освобождению из-под турецкого правления, пока это не угрожало ее собственным стратегическим позициям в Средиземном море из-за усиления русского влияния. Но к 1840 году Великобритания вмешалась непосредственно, чтобы сдержать Россию, и, следовательно, поддержала статус-кво Османской империи. Во время венгерской революции 1848 года Великобритания, формально занявшая позицию невмешательства, на деле приветствовала восстановление Россией статус-кво. Когда Италия в 1850-е годы восстала против правления Габсбургов, Великобритания проявила сочувствие, но сама ни во что не вмешивалась. Для защиты баланса сил Великобритания никогда не была ни решительно интервенционистской страной, ни категорическим противником интервенции, ни бастионом венского порядка, ни державой, требующей его пересмотра. Стил ее действий был непреклонно прагматичен, а британский народ гордился тем, что страна способна справиться с любой ситуацией.

И тем не менее любая прагматическая политика – поистине прагматическая политика – должна быть основана на каком-то определенном принципе с тем, чтобы тактическое искусство не тратилось на беспорядочные телодвижения. И таким заранее определенным принципом британской внешней политики была, независимо от того, признавала ли Великобритания это открыто или нет, ее роль защитника баланса сил, которая в целом означала поддержку более слабого против более сильного. Во времена Пальмерстона баланс сил превратился в такой непреложный принцип британской внешней политики, что ему не нужна была теоретическая защита. Какая бы политическая линия ни проводилась в любой данный момент, она обязательно формулировалась с учетом необходимости отстаивания баланса сил. Исключительная гибкость сочеталась с рядом заданных целей практического характера. К примеру, решимость оберегать Нидерланды от попадания в руки какой-либо крупной державы неизменно сохранялась со времен Вильгельма III и вплоть до начала Первой мировой войны. В 1870 году Дизраэли следующим образом подтвердил вновь этот принцип:

«Правительство нашей страны всегда считало, что в интересах Англии, чтобы страны на европейском побережье, начиная от Дюнкерка и Остенде до островов Северного моря, находились под властью свободных и процветающих сообществ, проводили политику мира, пользовались правами и свободами и занимались торговлей, направляя свою деятельность на повышение культурного уровня человека. И они не должны находиться во власти какой-либо крупной воинственной державы...»<sup>120</sup>

До какой степени были изолированы германские руководители свидетельствует тот факт, что они были неподдельно удивлены, когда в 1914 году Великобритания ответила объявлением войны на германское вторжение в Бельгию.

На протяжении значительной части XIX века сохранение Австрии считалось важной британской целью. В XVIII веке Мальборо, Картерет и Питт несколько раз вступали в войну, чтобы не позволить Франции ослабить Австрию. Хотя Австрии в меньшей степени следовало бояться французской агрессии в XIX веке, британцы все еще рассматривали Австрию как полезный противовес русской экспансии в направлении черноморских проливов. Когда революция 1848 года угрожала привести к развалу Австрии, Пальмерстон заявил:

<sup>120</sup> Обращение Дизраэли к палате общин 1 августа 1870 года, в: *Parliamentary Debates (Парламентские дебаты)*. (Hansard), 3rd ser., vol. cciii (London: Cornelius Buck, 1870), col. 1289.

«Австрия находится в центре Европы как барьер против проникновения, с одной стороны, и вторжения – с другой. Политическая независимость и свободы Европы связаны, по моему мнению, с поддержанием и целостностью Австрии как великой европейской державы. В силу этого все, что имеет целью прямо, или даже косвенно, ослабить и расчленить Австрию, тем более лишить ее положения первостепенной великой державы и свести ее к второразрядному статусу, должно рассматриваться как величайшая катастрофа для Европы, с которой ни один англичанин не сможет смириться и постарается не допустить»<sup>121</sup>.

После революции 1848 года Австрия становилась все слабее, а ее политика все более непостоянной, что снижало ее былую полезность в качестве ключевого элемента британской политики в восточном Средиземноморье.

В центре политики Англии стояла задача не допустить оккупации Россией Дарданелл. Австро-русское соперничество было в основном сопряжено с русскими планами относительно славянских провинций Австрии, что всерьез Великобританию не волновало, а контроль над Дарданеллами не принадлежал к числу жизненно важных интересов для Австрии. Поэтому Великобритания пришла к выводу, что Австрия стала неравноценным противовесом России. Вот почему Великобритания осталась в стороне, когда Австрия потерпела поражение от Пьемонта в Италии и была разгромлена Пруссией в ходе соперничества за преобладание в Германии, – проявив безразличие, которое было бы немыслимо всего одно поколение назад. С начала наступления нового века страх перед Германией будет господствовать в британской политике, а Австрия, союзник Германии, впервые будет фигурировать как противник в расчетах Великобритании.

В XIX веке никто бы и не подумал, что настанет день и Великобритания окажется в союзе с Россией. По мнению Пальмерстона, Россия «придерживалась системы всесторонней агрессии по всем направлениям, частично в силу личных качеств императора (Николая), и отчасти в силу неизменной системы правления»<sup>122</sup>. Через 25 лет после этого подобное же мнение повторил лорд Кларендон, который утверждал, что Крымская война была «битвой цивилизации против варварства»<sup>123</sup>. Большую часть столетия Великобритания потратила, пытаясь сдерживать русскую экспансию в Персии и на подступах к Константинополю и к Индии. Понадобятся десятилетия германской воинственности и бесчувственности, чтобы перенести главную озабоченность Великобритании по вопросам безопасности на Германию, и это в итоге случилось только после наступления нового столетия.

Британские правительства сменялись чаще, чем правительства так называемых Восточных держав; ни один из крупнейших британских политических деятелей – Пальмерстон, Гладстон, Дизраэли – не находился на своем посту в течение всего срока пребывания на своей должности, как это было с Меттернихом, Николаем I и Бисмарком. И тем не менее Великобритания сохраняла исключительную преемственность в своих целях. Встав однажды на определенный курс, она следовала ему с неослабевающей настойчивостью и твердым упорством, что позволяло Великобритании оказывать решающее влияние в плане сохранения спокойствия в Европе.

Одной из причин такой целенаправленности в поведении Великобритании во времена кризисов был представительный характер ее политических институтов. С 1700 года общественное мнение играло важную роль в британской внешней политике. Ни в одной стране Европы в XVIII веке не существовало «оппозиционной» точки зрения в том, что касалось внешней политики; в Великобритании оппозиция была неотъемлемой частью системы. В XVIII веке

---

<sup>121</sup> Обращение Пальмерстона к палате общин 21 июля 1849 года, в: Темперли и Пенсон. *Основы внешней политики*. С. 173.

<sup>122</sup> Пальмерстон, в: Бриггс. *Эпоха прогрессивных свершений*. С. 353.

<sup>123</sup> Обращение Кларендона к палате лордов 31 марта 1854 года, цитируется в: Сетон-Уотсон. *Британия в Европе*. С. 327.

тори, как правило, представляли внешнюю политику короля, которая склонялась к вмешательству в споры на континенте; виги же, подобно сэру Роберту Уолполу, предпочитали сохранять определенную дистанцию по отношению к ссорам на континенте и делали гораздо больший упор на заморскую экспансию. К началу XIX века роли переменялись. Виги, подобно Пальмерстону, представляли активную экспансионистскую политику, базой которой являлась растущая экономика, в то время как тори, подобно Дерби или Солсбери, настороженно относились к иностранным связям. Радикалы типа Ричарда Кобдена солидаризировались с консерваторами, пропагандируя невмешательство в британской позиции.

В силу того, что внешняя политика Великобритании выростала из открытых дебатов, британский народ проявлял исключительную сплоченность во время войны. С другой стороны, столь открыто пристрастная внешняя политика делала возможными – хотя и в высшей степени необычными – крутые перемены во внешней политике при смене премьер-министра. К примеру, поддержка Великобританией Турции, оказываемая в 1870-е годы, резко прекратилась, когда Гладстон, считавший, что турки заслуживают морального осуждения, победил Дизраэли на выборах 1880 года.

Во все времена Великобритания относилась к своим представительным учреждениям как к уникальным самим по себе. Ее политика на континенте всегда оправдывалась британским национальным интересом, но не идеологией. В любых случаях, когда Великобритания выражала сочувствие какой-либо революции, как, например, в отношении Италии в 1848 году, она поступала так сугубо из практических соображений. Отсюда Пальмерстон с одобрением цитировал прагматическое изречение Каннинга: «Те, кто сдерживал прогресс, поскольку он представлял собой новаторство, вынуждены будут в один прекрасный день принять новаторство, которое уже более не будет прогрессом»<sup>124</sup>. Но это был совет, базирующийся на опыте, а не призыв к распространению британских ценностей или институтов. В продолжение всего XIX века Великобритания оценивала другие страны по проводимой ими внешней политике и, за исключением краткого перерыва гладстоновского правления, оставалась безразлична к их внутреннему устройству.

Хотя Великобритания и Америка с одинаковым равнодушием относились к повседневной вовлеченности в международные дела, Великобритания оправдывала свою собственную версию изоляционизма, которая основывалась на совершенно ином фундаменте. Америка провозглашала свои демократические институты примером для всего остального мира; Великобритания трактовала свои парламентские институты как не имеющие ничего общего с иными обществами. Америка пришла к пониманию того, что распространение демократии обеспечит-де мир; в действительности дело, дескать, обстоит так, что надежный мир не может быть достигнут каким-то иным путем. Великобритания могла бы предпочесть для себя какое-то конкретное внутреннее устройство, но идти на риск ради этого она не собиралась.

В 1848 году Пальмерстон уладил исторические опасения Великобритании в связи со свержением во Франции монархии и появлением нового Бонапарта тем, что задействовал нижеследующее практическое правило британского государственного управления: «Неизменным принципом, на основании которого действует Англия, является признание законным органом каждой страны того органа, который каждая страна сознательно предпочтет для себя»<sup>125</sup>.

Пальмерстон в течение почти 13 лет был главным архитектором внешней политики Великобритании. В 1841 году Меттерних с циничным восхищением анализировал его прагматический стиль: «...что же тогда хочет лорд Пальмерстон? Он хочет, чтобы Франция ощутила мощь Англии, доказывая ей, что египетское дело завершится только так, как того пожелает он, и у Франции не будет ни малейшего права вмешиваться в это дело. Он хочет доказать обеим

<sup>124</sup> Обращение Пальмерстона к палате общин 21 июля 1849 года, в: Темперли и Пенсон. *Основы внешней политики*. С. 176.

<sup>125</sup> Цитируется в: Великобритания: внешняя политика и масштабы империи, 1689–1971.

немецким державам, что он в них не нуждается и что Англии достаточно помощи России. Он хочет держать Россию под контролем и затащить ее в свой обоз, играя на ее постоянном опасении того, что Англия вновь сможет сблизиться с Францией»<sup>126</sup>.

Это было довольно точное описание того, что Великобритания понимала под балансом сил. В итоге это позволило Великобритании пройти через столетие с одной сравнительно короткой войной с другой великой державой – Крымской войной. Хотя, когда война началась, никому и в голову не приходило, что именно Крымская война привела к развалу меттерниховского порядка, выкованного с превеликим трудом на Венском конгрессе. Распад единства трех восточных монархов устранил элемент моральной сдержанности из европейской дипломатии. Последовали 15 беспокойных лет, прежде чем возникла новая, но гораздо более хрупкая стабильность.

---

<sup>126</sup> Меттерних, 30 июня 1841 года, в: Сетон-Уотсон. *Британия в Европе*. С. 221.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.